



*Петр ПРОСКУРИН*

**Автобиографический роман  
дорог и встреч**

П. Л. Прокурин, Москва, 1977 г.

# **ПОРОГ ЛЮБВИ**

*Книга вторая*

## **НА ГРАНИ ВЕКОВ (из дневника писателя)**

Сегодня был не то чтобы тяжелый, а просто разламывающий день. С утра солнце, к обеду – холодный и редкий дождик. В саду – ожидание, листья с рябин и маньчжурского ореха уже потихоньку беззвучно слетают. И приходят какие-то неопределенные мысли, лениво ворочаются, рвутся. С утра плохо работалось, потом на несколько страниц пошло и опять завязло. Платонов – удивительный художник, его художественное зрение, словно глаз стрекозы (стереоскопический), сразу видит на триста шестьдесят градусов, кроме того, видит и небо, и землю под собой. Его «Котлован» или «Чевенгур» широко читаться не будут, и по этой причине, по своей давящей специфичности, – уйдет соответствующая эпоха, уйдет и нынешний интерес.

Часто думаю о современной критике; вот ей теперь развязали руки, и что же получается? Сразу все окончательно распались на группы, тотчас выявилось, что национальная русская критика стоит перед теми же наглухо запертыми воротами, перед которыми ее поставил семнадцатый год. Разгромив и изгнав старую русскую национальную интеллигенцию, революция, естественно, стала выращивать на опустевшем месте свое. Русская литература упорно и цепко держится, но оценку ее почти полностью перехватила антинациональная критика, пользующаяся любым случаем принизить национальную русскую литературу, умалить ее значение и выпятить в ней роль посредственных русскоязычных писателей. Что интересно, так это невероятное оживление масскультуры и низкопробной литературы в моменты смуты, неурядиц, перемен, переломов общества. Как во время мора или войны появляется масса трупных мух, так и теперь, когда в стране шаткость и неустроенность, появляется множество пророков и прорицателей на всех направлениях жизни; все умны, все всё знают, в литературе явилось почему-то множество именно критикесс, очень злобных и неталантливых. Они летают по страницам газет и журналов дружной и согласной стаей и всё больше и больше заражают

жизнь; они не могут этого не делать, это их естество, и яд в них присутствует и вырабатывается постоянно, как молоко у кормящей женщины. Вот только в каких железах? Сейчас это заражение народного сознания называется «свободой, гласностью и перестройкой», или, несколько вернее, умело маскируется под перестройку, то есть под обычную, каждодневную жизнь любого человеческого общества, которое просто в силу законов природы не может ежедневно, даже ежечасно не меняться и не перестраиваться, расти, развиваться, стареть, обновляться. Даже при Брежнев, этом советском консерваторе, всегда, пусть подспудно, что-то менялось и перестраивалось, порой совершенно незаметно, а временами принимало и бурный, необходимо отметить, порой бесплодный характер, и вот тогда-то и наступал сезон трупных мух – жирные, сизые, тупые, они тучами распространяются вокруг, и каждое их прикосновение к живой жизни оставляло на ее теле пятна гниения. Надо много сил и затрат, чтобы потом задержать и подавить их расползание.

#### **10.09.88 г.**

Теперь всё больше говорят и пишут о земле и крестьянине, об ошибках двадцатых-тридцатых годов, разрушивших якобы сельское хозяйство России. Меня интересует другое: а так ли уж порочен был именно этот путь развития? Какая огромная передовая промышленность поднялась в стране именно благодаря переходу на коллективное хозяйствование на селе; но вот теперь, когда команда Ельцина, дорвавшись до высшей власти, уже явно по глобальному плану мирового правительства, действительно разрушила село и намеренно ввергла страну в продовольственную зависимость от Запада, сталинская коллективизация всё больше высвечивается как большой прогрессивный прорыв.

И сейчас хорошо было бы как можно быстрее выправить (хотя «быстрее» совершенно не то слово) положение с землей и сельским хозяйством. А для этого нужно вернуть землю в руки хозяина, в наследственное арендное владение навсегда – вот единственная альтернатива национальному банкротству. Только такой решительный шаг сможет сростить насильственно разрубленные связи человека и земли. Руководить крестьянином нельзя, крестьянин – порождение самой земли и сам, хочет он или нет, выполняет ее наивысшую волю и во вред себе никогда ничего не сотворит.

Сегодня весь день в окна дачи стучали синицы; их опять много прилетело с утра в сад. Я высыпал в кормушку крошки сыра и хлеба, и они азартно клевали. Пожалуй, надо ждать похолодания и непогоды.

#### **20.09.88 г.**

*«Московские новости» № 38, 18.08.88*

*«Легкая ноша академика Лихачева».*

*Корр.: «А злости потом не осталось?»*

*Лихачев: «Нет, нет. Нельзя сердиться на то, что идет дождь, гремит гром. Это природное явление...»*

Это из разговора между корреспондентом и академиком Лихачевым, а разговор идет о пребывании академика на Соловках. Лихачев много говорит о покаянии, и если Соловки всего лишь «природное явление», то в чем же каяться? Вообще у Лихачева много противоречивого, здесь, в данном конкретном случае, попытка оправдать и Соловки как «природное явление». Но мы уже слишком много знаем, чтобы поверить в это «природное явление», его организовали люди, которых, в свою очередь, уважаемый академик хочет оправдать, отодвинуть в тень и даже прикрыть их завесой «природного явления». Что это за такие, симпатичные проницательному академику, люди? Или просто старость и желание, чтобы всем было хорошо?

Хотелось бы несколько отойти от этого мудрого интервью академика и бросить взгляд в недалекое прошлое, опять-таки связанное с «духовным светочем России», как нередко называли Дмитрия Сергеевича его многочисленные поклонники и обожатели; академик к тому времени был мне уже достаточно знаком. Я, как председатель Всероссийского фонда культуры, стал членом президиума Советского фонда культуры и по рангу на заседаниях сидел рядом с Раисой Максимовной, супругой первого президента СССР.

Раиса Максимовна каждый раз непременно выступала, говорила она обстоятельно и не спеша, расчетливо подыскивая и располагая слова грамматически правильно, что выгодно отличало ее в этом отношении от супруга, совершенно в русском языке безграмотного, и все внимательно слушали первую леди. Сам же академик, слушая первую леди государства, был весь внимание, ловил каждое ее слово, как откровение Моисея, каждый скупой жест как некое важное, необходимое дополнение к горнему откровению. От игры умного и, в общем-то, одаренного человека, одаренного хотя бы непревзойденным талантом имитатора, прожившего долгую и противоречивую жизнь, часто становилось неловко, и я старался не смотреть в его сторону. Но дело не в этом, каждому свое, да и жизнь в стране все больше напоминала комедию, переходящую в трагический фарс, и каждый принимавший в нем участие старался изо всех сил подчеркнуть свою роль.

Совсем недавно с Лихачевым у меня случилось откровенное противостояние, еще больше высветившее для меня его непростую суть: при всей его внешней мягкости в нем была заложена жесткая программа, интуитивно вызывавшая во мне скрытое, а порой и открытое сопротивление. Вот один из таких случаев. Уволился, не потянув огромной работы в фонде, мой первый заместитель, в недавнем прошлом один из секретарей, кажется кемеровского обкома партии; он сдал уже полученную в Москве трехкомнатную квартиру и уехал к себе домой в Сибирь: с московской вороватой и распутной публикой, набившейся во все поры фонда, справиться ему не удалось. Я долго подыскивал ему замену и остановился на Сергее Семанове, публицисте, патриоте, в недавнем прошлом – главном редакторе журнала «Человек и закон». У него была репутация националиста, славянофила и даже монархиста, и он уже давно бедствовал без работы, – против подобного образа мыслей еще с семнадцатого года велась упорная и беспощадная борьба на всех уровнях власти.

Не ставя в известность руководство Советского фонда, я, на свой страх и риск, утвердил Семанова на президиуме Всероссийского фонда в должности первого своего заместителя, то есть поставил академика Лихачева перед фактом. И в первый же свой очередной наезд из Ленинграда он срочно вытребовал меня на ковер вместе с Семановым; мы, разумеется, явились в срок, но дальше приемной Семанова не пустили, а в высокий кабинет пригласили меня одного; Семанов же остался с бдительной секретаршей в просторной приемной, стесненно примостившись на одном из изящных диванчиков среди картин и прочих предметов искусства, украшавших многочисленные помещения старого изысканного особняка на Гоголевском бульваре.

Лихачев и его первый заместитель Мясников, тоже один из бывших секретарей Пензенского обкома партии, человек действительно интереснейший, умный, много сделавший для культурного подъема Пензы, но, естественно, несущий на своей личности отпечатки своего времени и его противоречий. Партийные функционеры высоких рангов своим хищным инстинктом давно уловили суть происходящего и, конечно же, своего упускать не собирались, ждали подходящего момента для последнего броска. Именно Мясников фактически руководил и распоряжался Советским фондом культуры и держал постоянную связь с Раисой Максимовной. В ещё более ранние времена, живя и работая в Пензе, он раза два был у меня дома в гостях, и мы много говорили о литературе, о жизни, о подступающих переменах в стране, о народе; Георг Васильевич очень много курил и всё собирался бросить.

Мы поздоровались довольно приветливо; меня пригласили сесть напротив Лихачева, и академик, после ничего не значащих общих фраз о здоровье, тотчас перевел разговор на Семанова.

– Да он здесь, в приемной, Дмитрий Сергеевич, – сказал я. – Может быть, его пригласить, поговорим вместе.

– Нет, нет, – с некоторой даже брезгливостью остановил меня Лихачев. – Давайте поговорим сначала втроем, определимся, что же нам делать. Я слышал, Петр Лукич, вы хотите утвердить этого... товарища своим первым заместителем? Вы хорошо подумали? Давайте вместе поразмыслим...

На лице Мясникова появилось некое неуловимое выражение личного отсутствия в данной непростой ситуации; он достал свой излюбленный «Беломор» и закурил, конечно же со скрытым интересом ожидая, что я буду делать, как выкручиваться. Но я и не думал выкручиваться; какая-то веселая искра проскочила у меня в сердце, я мгновенно вспомнил о недавнем шуме вокруг фильма «Покаяние», в котором сын выбрасывает из могилы труп отца, якобы за его преступления против народа (репрессии и т.д.), выбрасывает его собакам и воронам.

На очень горячем пленуме СП СССР я резко выступил против антигуманистической направленности этого фильма, назвал его нарушающим всяческие каноны народной нравственности и совести, некрофильским и сказал, что, следуя именно такой дорогой, нельзя отыскать дорогу к Храму, о чем торжественно декларировали авторы этой скотоподобной ленты. После моего выступления поднялся довольно энергичный шум; министр культуры РСФСР Юрий Серафимович Мелентьев шепотком поблагодарил меня и сказал, что я спас лицо и честь русской литературы. Русскоязычные же литераторы взбеленились. Андрюша Вознесенский, вечный мальчик с кокетливым шарфиком на шее, тотчас дал телефонограмму в Ленинград своему духовному наставнику академику Лихачеву и незамедлительно получил ответ, порицающий меня за термин «некрофилия» по поводу знаменитого фильма, не помню сейчас точно, за что еще, и с отеческим напутствием в необходимости всем отстаивать духовность и культуру. Андрюша Вознесенский тотчас эту почтенную телефонограмму и огласил, с подобающим душевным трепетом и нервно оправляя на шее свой неизменный шарфик.

Припоминая и этот случай, я помедлил с ответом.

– Знаете, Дмитрий Сергеевич, – бодро начал я, не опуская глаз под пристальным, по-детски непорочным взглядом академика, – знаете, я ведь не только думал пригласить Сергея Николаевича Семанова. Уже состоялось правление фонда. Его утвердили единогласно, и я уже подписал приказ. Теперь его уволить можно только через суд.

– Какая неосмотрительность, Петр Лукич! – слегка повысил голос Лихачев, совесть нации и народный депутат. – Вы, безусловно, поспешили, вы знаете, что о нем говорят? Знаете, Петр Лукич?

Наступила критическая минута, собственно, какое было дело академику до кадровых вопросов во Всероссийском фонде культуры? Просто уже разворачивалась очередная интрига по дискредитации русских патриотических сил, а это всегда вызывало во мне непреодолимый, чисто биологический протест.

Мясников по-прежнему молчал и курил.

– А знаете, Дмитрий Сергеевич, что про вас говорят? – задушевно спросил я и сочувственно улыбнулся. – Но от этого никто ведь не падает в обморок.

Реакция Лихачева была настолько неожиданной, что даже в потусторонних глазах Мясникова сверкнул острый интерес.

– Нет, нет, Петр Лукич! Я не еврей, нет, нет! – горячо воскликнул академик и народный депутат, выбросив на стол красивые узкие ладони. – Нет, Петр Лукич, клевета!

Я и сам, несколько озадачившись реакцией академика, слегка растерялся; не ожидал, даже не предполагал, что глубокая академическая мысль сработает именно в этом направлении; если я что-либо конкретное и имел в виду, то лишь противоречивые слухи об истинных причинах пребывания нынешнего академика и народного депутата в местах не столь отдаленных в тридцатые годы. Но про себя я воскликнул «Ура!», хотя и не понимал, что плохого в том, если ты родился евреем, но обыкновенный инстинкт подсказывал, что нужно закрепить успех; я неопределенно пожал плечами.

– Да, Дмитрий Сергеевич, но ведь говорят? – сказал я сокрушенно, и многомудрый Георг Васильевич, снимая напряжение, покашливая, перевел разговор на предстоящую поездку в США и Канаду, он попросил и меня принять в ней участие.

К вопросу о Семанове больше не возвращались.

### **20.01.90 г.**

В начале месяца, вернее третьего января, отнес последнюю, завершающую книгу трилогии в журнал. В «Москве» меняется главный редактор, вместо Алексеева приходит Крупин, из сравнительно молодых, но достаточно бойких, с большим самомнением и чуть ли не уверенностью в своей гениальности.

Отдал рукопись в отдел прозы Юре Медведеву, талантливому и глубокому критику, попросил его побыстрее прочитать, и уже через неделю Медведев позвонил и поздравил с удачной, по его словам, книгой, очень высоко отзываясь о ней. Человек безошибочного вкуса, большой культуры, Медведев давно мне нравился отточенным стилем и четкой русской направленностью своего мировоззрения; после его звонка мне стало душевно полегче, критике, плотно заселившей все московские и ленинградские печатные органы, я не верил.

Роман сложился весьма парадоксальный, Захар Дерюгин словно повторил свой путь, но теперь уже от устья жизни к ее истокам, на его мужицкую судьбу в России наложился еще один пласт откровения, ранее не подвластный ни вскрытию, ни осмыслению для такого, как сам Захар Дерюгин, и я опасался: не случилось ли от подобного поворота, единственно возможного в поисках истины, распада образа? Стоять рядом со своим героем чуть ли не тридцать лет (с 1961 года, когда были написаны первые страницы трилогии) и не притерпеться к нему, не впасть в отношении его в зависимость было почти невозможно. Что за образ получился, что он в себе таит? Пожалуй, именно в нем под конец трилогии сосредоточилась вся зыбкость и неуверенность человеческой судьбы в завершение двадцатого века; но в нем, в Дерюгине, сконцентрировалась также и неистребимая вера в чудо, народный оптимизм, русская чудовищная жизнестойкость, во многом уже подорванная предшествующими десятилетиями тяжелейших испытаний, выпавших на долю России. Что произошло с Россией? Накликали беду ее вдохновенные пророки? Тютчев? Достоевский? Лесков? Федоров? Своим гением, своим космическим пониманием духовности они невольно привлекали излишнее любопытство Европы, всегда ревниво следившей за русской жизнью, Европы, в основном уже успокоившейся и умиротворенной, давно оставившей поиск души и Бога, и лениво и сытно колышущейся в прилизанных и мелко-одинаковых берегах размеренной животной жизни. Россия всегда подсознательно раздражала Европу своей вечной взлохмаченностью и неуспокоенностью. Была и чисто физическая причина – огромность самой массы и протяженность из материка в материк, что тоже возбуждало острую зависть, экспансию и страх.

В образе Захара Дерюгина Россия прошла почти весь свой двадцатый век, изнемогая и падая под тяжестью своего креста, влача его на свою космическую русскую Голгофу. И на глазах всего потрясенного мира ныне стаскивают безжизненное, но еще не мертвое тело России

под улюлюканье и свист отечественных и закордонных нетопырей и хоронят, заваливают бранью и грязью. Но в какой же могиле сие устрашающе неоглядное тело может поместиться?

Страшно миру – а вдруг воскреснет и опрокинутся горы от океана до океана, а сами океаны выплеснутся из своих берегов? Господи Боже, за что? И воскреснет ли?

**03.10.90 г.**

А что за черная круговерть вокруг Ирака? Миттерану, Тэтчер, Бушу нужен независимый Кувейт, кстати действительно историческая земля Ирака? Черта с два! Им нужно оградить от малейших посягательств международный элитарный правящий слой, по природе своей глубоко паразитический, и во имя этого они пойдут на любое преступление. Еще больше мировой элите нужна беспрекословная рабская покорность всех без исключения народов мира. И будьте уверены, эти господа, эти сторожевые монстры пойдут и на атомную обработку гордого и свободолюбивого иракского народа. Запах иракской нефти возбуждает их дряхлую душу, омолаживает ее мекфистофельскую суть, – в мире так и не исчезает запах серы. Удивительно, что большинство людей не догадываются об истинных причинах так называемых великих исторических событий! Занимательно и то, что никто из верхнего элитарного эшелона не понимает пагубности своего фантастически уродливого, сверхгигантского уровня личного потребления. Странное и дисгармоническое явление в космосе – человек.

**30.12.90 г. ЦКБ**

Пятый день в больнице, сделали небольшую операцию по удалению полипов в кишечнике; Юрий Матвеевич Корнилов – проктолог, чистит меня уже третий раз. Увлеченность своим делом, высочайший профессионализм накладывает на него своеобразный отсвет – мягок, интеллигентен, замотан до бесконечности и не в силах следить за другими областями жизни, с обезоруживающей улыбкой полного неведения расспрашивает о делах в литературе и политике.

**07.01.91 г.**

Вот и узаконенное самой властью Рождество Христово – святки, перезвон колоколов, ряженые, Гоголь. Церковь собирает оставшиеся и сохранившиеся от жестокого двадцатого века крохи благочестия – народ, измотанный еще одной варварской «перестройкой» (куда? зачем?), ищет выход в православии, очевидно, не самая худшая дорога к укреплению и исцелению измотанной и надорванной народной души.

Патриотические силы опять может объединить, как это было в монгольские времена, одна только церковь, с ее незыблемыми духовными и религиозными устоями, когда она несла людям веру в высокое предназначение человека, в божественный промысел и укрепляла смысл высокого деяния, нравственного и воинского подвига. Но отыщется ли, теперь уже в наши окаянные времена, еще один преподобный Сергей Радонежский?

Рядом с Мавзолеем Ленина – рождественские свечи, и эта усыпальница Востока торчит среди русских национальных архитектурных форм как инородное новообразование в здоровом и гармоничном организме Красной площади. Конечно, его со временем уберут, так же как Ленинград вновь станет Санкт-Петербургом, нельзя же одновременно молиться и Богу, и Сатане, от этого в народе воцаряется многобесие.

**28 ноября 1991 г.**

Провальный, окаянный год кончается, близится еще более тяжкий – 1992-й, год черной обезьяны, год окончательной, надо думать, смены социальной формации в России. Бог да

поможет ей, видимо чересчур расслабилась за безмятежное сорокалетие послевоенной жизни и никак не соберется душою и телом. Успеет ли?

#### **02.01.92 г.**

И все-таки Новый год, люди остаются людьми. И были елки, небольшая мягкая метель, больше похожая на мартовскую.

Приехали внучки, Тася и Туся, обе очень серьезные, повзрослевшие и похожие друг на друга.

Что-то всех нас ждет в новом, девяносто втором? Страна рассыпалась как карточный домик, на Западе – ликование и новые, теперь уже откровенно колониальные требования – не производить и не усовершенствовать атомного оружия.

Тягостный год. Культура и наука всемерно разрушаются, готовится пространство под мировую свалку отходов. На Кавказе война, в самой России – бескормица и дикая дороговизна. На Новый год приехала из Твери теща, привезла бутылку шампанского и килограмм свинины из своего ветеранского пайка; отчаянно ругает Горбачева, но за Ленина заступает не менее энергично.

Русский народ строит теперь уже не светлое будущее для далеких потомков и всего угнетенного человечества, а строит для себя домики, пусть они даже называются садовыми, гаражи, квартиры, баньки на крохотных дачных участках, спешно обложенных новым демократическим правительством новой рентой на землю. Опять люди отказываются от земли, но отчаянно защищают построенный дом, вечный символ бессмертия рода и личности. И создается впечатление, что режим старается вытравить в народе последний, быть может самый стойкий, инстинкт строительства дома и продолжения рода.

#### **05.01.92 г.**

Сегодня день солнечного затмения, хотя в Москве, кажется, его никто не видел, москвичам сейчас не до солнечного затмения – все не только ошеломлены свободными ценами, но и подавлены обвально.

Лиля сегодня весь день сердится, говорит, что необходимо по-прежнему работать, писать, хотя бы в стол, хотя бы в дневник, и приводит в пример Достоевского. Но вокруг Федора Михайловича простиралась огромная и неделимая Россия, и только предчувствие прихода нынешних наших бесов вроде Горбачева с Яковлевым являлось смутным предвестием русской катастрофы. Мы же видим ее своими глазами, на себе испытываем ее мертвящую хватку, и она проходит через наши души, она уже губит, уродует наших детей и внуков.

Разговаривая по телефону с Матвеевым, поплакались друг другу, но он по-прежнему мало что понимает или делает вид, что не понимает. Пришлось напомнить Евгению Семеновичу, что его любимый герой, Захар Дерюгин (по крайней мере, Матвеев когда-то так утверждал), как истинный русский патриот ещё в начале тридцатых годов, за несколько десятков лет до Ельцина, почувствовал фальшь в запрете на простую человеческую любовь да положил на стол партбилет.

#### **06.01.92 г.**

Слегка усилился мороз, но снега в Москве по-прежнему нет; улицы Москвы непривычно для этого времени года мрачные и грязные; вороны караулят свои старые гнезда, и надо ждать ранней весны.

Рождество Христово. Радио передает о событиях в Грузии (наконец Гамсахурдия сбежал и мечется между Азербайджаном и Арменией), и опять возникает вопрос о неодолимой притягательности власти для смертного – любой кровью, любым злодейством, порой играя

судьбами целых народов, но во что бы то ни стало выбраться на самый верх и повелевать? Что это за удивительный фантом – власть?

\*\*\*

В магазине две старухи-пенсионерки смотрят на кусок баранины в витрине.

– Вот бы сварить, – мечтательно говорит одна, пониже, в тяжелом платке и с одутловатым лицом, и в глазах у нее появляется тусклый блеск. – На три дня бы благодать животу.

– Где ж ты сварить, – с некоторой насмешливой горечью отвечает вторая, повыше, но тоже в поношенном длинном пальто, таком, какие носят теперь только очень пожилые люди. – На нашу-то пенсию такого не сварить, свотой изойдешь.

Да, советские времена для таких стариков и старух навсегда кончились.

### **07.01.92 г.**

Рождество Христово. С утра небольшой, минус три, морозец. Тишина. Молчит телефон. И самому не хочется никому звонить. Ощущается необходимость сосредоточиться внутренне, внутренне собраться – очевидно, грядут новые катаклизмы, и это грозное ощущение носится в воздухе. Да и по логике, после таких планетарных катастроф, как распад самого гигантского на планете государства, зеркало жизни не может в одночасье успокоиться – еще долго будут продолжаться даже самопроизвольные возмущения и взрывы, возможны и материковые трещины через всю планету, и выбросы лавы, которая еще не один народ сожжет и покалечит. Но самое главное случилось – русскую жизнь втиснули наконец в мертвящее русло однолинейности, лишили ее поиска, полета, и вряд ли ей теперь вырваться из мертвящей догмы убивающего единообразия.

### **11.01.92 г.**

Вчера были с Лилей на просмотре документально-публицистического фильма «Святая Волга», в нем собран богатейший материал о гибели великой реки от истоков до устья. Отравленная полностью промышленными стоками, так называемым прогрессом промышленной деятельности человека, река умирает; но еще больше этот фильм о геноциде русского народа, уничтожении русской культуры, обнищании и деградации русского народного характера, вырождении русского типа на огромных географических пространствах. Режиссер и автор фильма – Антон Васильев, сын известного поэта.

Тягостное, гнетущее впечатление, какой-то чудовищный апокалипсис, конец человеческой породы. Ведь земля – единое тело в космосе, и если начинается гангрена, то, где бы она ни начиналась, она, несомненно, оказывает губительное воздействие на весь организм и в конце концов приводит его к гибели.

Здесь архитекторы глобализации мира трагически преступно ошиблись в своих намерениях и планах и, вознамерившись уничтожить русский народ, уподобились скорпиону, в слепой ярости убивающего самого себя.

Перед зрителем проходит ужасное вырождение природы через вырождение человека; пожалуй, фильм «Святая Волга» очень русский, но не талантливый, утомительный по монотонности приема, он вряд ли дойдет до народа. В кинотеатрах его не станут смотреть, а по телевидению не пустят именно потому, что он русский и говорит правду о русском человеке, о русском бесправии в мире, – телевидение у нас полностью захвачено русофобскими силами, и деятели типа Попцова и Яковлева костыми лягут, чтобы именно русский народ не знал правду о самом себе и продолжал бы пребывать в мире иллюзий, полей чудес и прочих телевизионных мистификаций.



Ночь прошла беспокойно, плохо; мало спал; приснился черт знает почему тот самый поэт Евтушенко, который воровским образом разгромил и захватил печать и деньги Союза писателей СССР и который нашел поддержку своему беззаконию в российских правительственных верхах. И мы в этом отвратительном сне почему-то пожимали руки друг другу; мне было противно и мерзко, и рука у этого вельзевула была влажная и скользкая, как резиновая подушка, но я, стыдясь и страдая от собственной подлости, не отнимал своей руки.

Странные и необъяснимые бывают сны; я за все время общения с этим типом ни разу не поздоровался с ним за руку, только кивали друг другу издали; и вот теперь, даже проснувшись, никак не мог избавиться от чувства гадливости и стыда. К чему бы такой сон? Вероятно, все это приснилось потому, что перед просмотром «Святой Волги» Костя Скворцов, тоже приглашенный на премьеру, рассказал мне, что на конференцию по созданию нового Союза писателей содружества бывших советских республик не пустили представителей Союза российских писателей – Романова и Лыкошина. А руководство всей этой вакханалией взял на себя Евтушенко – личность абсолютно безнравственная, достигшая своего наивысшего расцвета именно в эпоху горбачевской перестройки.

### **09.03.92 г.**

На праздники 8 Марта приезжали в гости внучки с невесткой Леной; всё перевернули вверх дном, устроили кукольный театр.

Дети растут, им нет дела до происходящего в стране, которая давно стала всем своим гражданам злой мачехой.

Бунтует Казань, в российском правительстве русской идеей и не пахнет, министром культуры назначен один из злейших русофобов, критик Евгений Сидоров, до этого директор Литинститута, – в прежние годы мне приходилось схлестываться с ними на секретариатах СП.

Народ вымирает ужасающими темпами – с начала перестройки убыль почти в 10 миллионов человек.

Внучки Ксения и Анастасия встречают через неделю свое пятилетие на этом свете – все повторяется и, кажется, нет ничего нового. А может быть, и действительно ничего нет? Приходят и уходят люди, идет непрерывная борьба за власть, и в этой борьбе нет пощады ни младенцам, ни старикам, ни женщинам.

Только что сообщили по радио, что шахтеры Кузбасса с 11 марта объявляют бессрочную забастовку, что бастуют шоферы троллейбусов в Хабаровске. В голосе диктора или, вернее, дикторши – вопросительные тревожные интонации.

В кабинет пришла Ксения и сказала:

– Дедушка, меня послала бабушка спросить, не хочешь ли ты чаю? – Единственный разумный вопрос, услышанный мною в это утро.

### **20.03.92 г.**

Все это время болел, дважды возвращалась жестокая простуда – озноб, насморк, ломота в костях и суставах, температура подскакивает до 39° с лишним, и последнюю неделю лежал, не ездил в Фонд. Перечитал седьмой том Гончарова, очерки, критику. Здоровый, поистине природный русский художник и человек. И в его ссоре с Тургеневым я ему верю – такой основательно русский национальный провидец не станет лгать, и не потому только, что дворянин, что хорошо воспитан и что есть врожденное понятие чести. Просто он (Гончаров) был сколок с природы самого народа, с нации, с ее духовного образа – отражение его исторической сути. Своей честностью он покоряет и вводит в душевный озноб, неустроенность – не понравились два или три завиралистых рассказа Достоевского, показались не достойным

гения кривлянием, и он раз и навсегда бросил его читать, никаких там «Преступлений и наказаний» и ничего прочего, тем более что в «Бедных людях» было, на его взгляд, десяток, не более, живых страниц. И он не только бросил читать Достоевского, но и не преминул оставить тому письменное свидетельство.

**23.03.92 г.**

Итак, очередь за белой расой. Смертельный яд самоубийства белой расы, давно уже бродящий в ее крови от губительного избыточного пресыщения физическими благами, давно уже, несмотря на десятки тысяч выстроенных храмов и костелов, забывшей о Боге. Белая раса как раздражающую занозу в собственном теле давно уже носит именно Россию, именно русский народ. И вот теперь срок настал – с разгромом русской национальной жизни, русской идеи поиска света и Бога, наступает чавкающий белый покой под прикрытием атомного зонтика. Но ведь бумагу-то изобрели китайцы, а математика, прародительница всяческих зонтиков, появилась у арабов, и поменять еще раз на дальнейшем пути приоритеты Европы и Азии провидению ничего не стоит... Жрать и жрать и жиреть до скончания века без неосознанной тоски о совершенстве души и о стремлении к свету – вот идеал Запада, который выковывался веками. Да, у нас разные пути. Но не спешите радоваться, господа, управляющие миром, не спешите поджимать бескровные губы! Жертва отторжения человечества от надежды на будущее будет оплачена сполна и не заставит себя долго ждать. Только русский опыт бытия был полнокровным и естественным опытом движения к единству земли и человечества, и только такой путь может принести расцвет земной цивилизации, только у России и русского народа был изначально заложен объединительный фермент в сплочении Востока и Запада, и никому другому этого больше не дано – так решило провидение, вложившее в русский гений непрестанный, изнуряющий поиск космического озарения смысла явления человека в бескрайней пустыне космоса. Гибель России – гибель всей белой расы.

Инстинкт самоубийства у белой расы пересилил инстинкт самосохранения, и трагический путь необратимо потек к завершению – для космоса не важно, пять, десять, сто или триста лет это будет продолжаться, – результат предопределен. А может быть, всё оборвется и завтра: одна из самых сплоченных и серьезных сил на земле – мусульманство уже заполучило в свои руки ядерный апокалипсис, и это всего лишь одна из смертельных капель яда, скатившихся с погребального костра.

Когда над сожженной пустыней человечества, где будут окончательно все уравнены, даже больше, чем по Марксу и Ленину, будут уравнены по беспощадным законам восставшей и мстящей природы, послышится чей-то слабый зовущий голос – голос последнего Рокфеллера или Буша, в ответ ему прозвучит далекий сожалеющий смех, и это будет русская загадочная улыбка над пустыней мира, потому что ничего не проходит зря – так устроено Создателем.

\*\*\*

Над Вечной могилой стоял Творец и вопрошающе глядел на дело рук своих, пытался вычислить свой роковой просчет, а русский смех, знакомый и равнодушный, отдавался уже в глубинах космоса, в каких-то других, запредельных мирах.

**02.04.92 г.**

Вечером были с Лилей в Малом, смотрели «И азъ воздам» о гибели царской семьи в Екатеринбурге, вернее, о ее последних днях. Прекрасно играет Николая Второго Юрий Соломин, хорош и убедителен доктор Боткин, своеобразна и глубока режиссура Морозова. Ярко выхвачен и еврейский вопрос, вернее, роль и значение евреев в российской революции, что,

пожалуй, ново для театра, да еще для Малого. Да и художественная литература, даже до семнадцатого года, старательно обходила эту тему – так запугали всех пресловутым антисемитизмом. Но и здесь, в спектакле «И азъ воздам», сердцевина – роль еврейства в разложении мира, в том числе и России, интеллигентно обходится стороной.

Зал полон, слушают внимательно, Николай II дается в ином стиле и толковании, непривычном для наших зрителей; он умен, проницателен, хороший семьянин, заботливый муж и отец; он последователен в своих убеждениях, в диалогах с большевицкими комиссарами находит нужные слова и аргументы, и только один-единственный (!) жестокий вечный вопрос, зачем же он подписал отречение, заставляет его молча покинуть сцену. Трагичнейший вопрос, ответ на который Россия не может дать и до сих пор, как и не может простить.

Очень хорош наследник, слушая его и наблюдая за ним, начинаешь осознавать многое и многое понимаешь из происходящего. Бесы, захватившие власть над Россией в семнадцатом году, и не могли принести ничего иного, кроме крови и ненависти, у них не было изначально гена имперской государственности, державности, что ощутимо присутствовало у того же последнего, неизлечимо больного наследника. Откуда у этих бесов, ослепленных идеей мировой революции, могло явиться чувство любви и сострадания, чувство ответственности за русский народ и русское государство? Они ведь его не строили и не созидали, они пришли разрушать, и должно было пройти определенное время, прежде чем появился Сталин, чтобы разрушение перелилось в созидание.

#### **18.04.92 г.**

Вечером по телевидению какой-то бойкий и нахальный тележурналист интервьюирует Рыжкова. Один из вопросов франтоватого и щеголяющего своей собственной наглостью журналиста о том, что сможет ли Рыжков построить собственную дачу, если его попросят освободить казенную. И совершенно растерявшийся Николай Иванович начал нудно и многословно рассуждать вслух о дороговизне строительства личной дачи, нет, этого он никак не осилит. «Несколько сот тысяч надо, где уж?»

Боже мой, и этот человек управлял делами самого огромного в мире государства и считает себя одним из зачинателей пресловутой перестройки! Не смог даже достойно послать молодого нахала вместо того, чтобы оправдываться в собственной честности! В любом нормальном обществе, в любой мало-мальски нормальной стране такой вопрос просто не мог бы возникнуть.

А ведь Рыжков – один из самых порядочных горбачевских ломовиков, так или иначе позволивших, способствовавших ему разрушить могучее государство. Комедия продолжается...

#### **27.04.92 г.**

По первой программе телевидения пасхальная заутреня из Богоявленского кафедрального собора. Служит сам патриарх Алексей II, движения рассчитаны и точны, присутствуют светские власти, Руцкой, Гавриил Попов, Станкевич, – этот, кажется, с семейством. Взоры патриарха, нет-нет да и обратятся в их сторону. Во время христосования патриарх всея Руси оделяет высоких гостей пасхальными яйцами, благословляет, а чуть позже обращается с наставлением и вещает и им, и всему народу православному, что с такими просветителями, как они, «Москва и Россия выстоят и поднимутся из обездоленности». До чего же подлое время, если даже сам патриарх обманывает народ, ведь при таком антинациональном, антинародном правительстве не может быть никакого улучшения народной жизни и патриарх это отлично знает. Что же им движет?

#### **12.06.92 г.**

Прошли Дни славянской письменности и культуры, площадь Ногина переименована

в Славянскую, и на ней установлен памятник святителям Кириллу и Мефодию, скульптор – Вячеслав Клыков.

Русофобская клика Горбачева, а затем и Ельцина идеально мимикрирует, и, как только развиваются какие-нибудь русские патриотические движения, русофобские силы, пользуясь своей бесконтрольной властью на государственном уровне и всемерно поддерживаемые извне, мгновенно перехватывают любую патриотическую инициативу, внедряются в число ее носителей, разъедают все изнутри, выхолащивают, лишают животворного народного дыхания.

Так вышло и с Днями славянской письменности и культуры в Москве – Клыков оттеснен, во главе стали Станкевич и новый министр культуризма Сидоров, и на дух не переносящий ничего русского, славянского – и вот вам результат. Даже крестный ход, возглавляемый патриархом из Кремля к Славянской площади, проходил между двумя шпалерами солдат, то ли внутренних, то ли еще каких других войск; именно народ к торжеству и не был допущен, катарсиса народной души не случилось и не могло случиться – в действе пребывали лишь приглашенные, этакая каста посвященных жрецов, а верующие, народ оставались где-то в стороне, на приличном отдалении, чтобы, не дай Бог, и в самом деле не запахло подлинной Русью, подлинным праздником очищения.

Основной задачей таких агентов влияния, как Станкевич или Сидоров, планомерно и настойчиво внедряемых в русские национально-патриотические движения и организации, является задача разрушения этих организаций путем их раскола. Даже в дни празднования славянской письменности в Москве русскому патриотическому движению был нанесен ущерб именно с этого направления. Вячеслава Клыкова, являющегося одним из крупнейших деятелей русского монархического и православного возрождения, Станкевич и Сидоров всего лишь рядом бюрократических мер в организации праздника смогли оттереть. И не только Клыкова, но и некоторых верных его соратников искусственно оттеснили, создав вокруг него некое безвоздушное пространство. Оттеснили от него, по сути дела, верующих, сам народ – необходимую питательную среду, без которой обречен на бесплодие любой художник и общественный деятель. Вот о таких точно спланированных приемах необходимо никогда не забывать русским патриотическим силам.

### «СОБОР»

В Колонном зале открылся Русский национальный собор; в этот же день, двенадцатого июня, состоялась демонстрация протеста патриотических сил России у Останкинской телевизионной башни под девизом «Осада империи лжи». Оба действия, и Собор, и осада, связаны единым корнем – у русских истощается терпение, и это, очевидно, чувствует и режим; в этот же день Ельцин предпринял контрнаступление, применил свой излюбленный популистский прием – помчался в народ, в магазины и на улицы, но даже по его карманному телевидению показывать было нечего, кроме криков недовольных женщин, осадивших бронированный лимузин президента, и его одутловатого лица с утонувшими в щеках ненавидящими глазками-буравчиками.

Правительству Ельцина не остается, пожалуй, ничего иного, кроме перехода к самому свирепому террору; русскому народу, в свою очередь, выбирать не из чего: или продолжение и усиление бесправия и рабства, или открытая беспощадная борьба с новым иноземным нашествием; кровь, и большая кровь, неминуема – третья мировая уже началась.

Цвет «народной» творческой интеллигенции, с Беловым, Шафаревичем, Невзоровым, Прохановым, на данном этапе определившимися и избравшими свой крестный путь служения русской идее, – еще не весь народ; природный народ еще беспробудно дремлет в непролазных

российских глубинах, и, к сожалению, не в силах Шафаревича с Прохановым и Невзоровым его пробудить...

Несомненно, одной из самых видных, ярких фигур на Русском соборе является один из его сопредседателей – писатель Валентин Распутин, человек, несомненно, умеющий быть на виду при любых обстоятельствах, внутренне собранный, напряженный, его эмоции в последний период прорываются и кристаллизуются главным образом больше всего в его газетной публицистике. Но и названные, и многие другие устроители Собора всё еще никак не расстанутся со своей наивной верой в некую символическую интернациональную Россию, в которой, как бы в силу своей исторической русской деликатности, все, в том числе и Распутин, с печатью мировой скорби на лице, стесняются назвать и обозначить главное – необходимость прежде всего возрождения русской национальной государственной идеи, без чего, собственно, бессмысленно всё остальное – и сами «российские интернационалисты», и их борьба, метания, искания, философствования. Русская государственная имперская идея – естественное, концентрированное выражение смысла славянской, тем более русской, евразийской цивилизации, по духовному взлету и степени концентрации самовыражения, не имеющей себе равных в истории человечества.

\*\*\*

Интересно проследить движение Собора. Сергей Алексеев и Юрий Сергеев (писатели следующего за нами поколения), еще и Михаил Щукин, о которых я в свое время писал в «Правде», присоединились к Соборному движению и самозабвенно работают. Сергеев – секретарь пресс-службы Собора, Алексеев тоже активно участвует в работе Собора, остро и талантливо пишет на патриотические темы. Но всё это уже сложившиеся писатели; радуется, что они есть среди сонма воинствующей серости. Прячась за идеями патриотизма, серость думает лишь о себе и воюет лишь за собственное благополучие, не более.

#### **06.10.92 г.**

Был на президентском приеме. Грановитая палата. Прием по поводу 600-летия памяти преподобного Сергия Радонежского. Из писателей, мне знакомых, были Сергей Залыгин и Борис Можаяев. Ещё Лакшин со своим вечным костылем, русофобией и завидным аппетитом, опять же за счет несимпатичных ему русских мужиков. С ним неотлучный Сидоров, министр российского культуризма. Столы ломились от снеди – икра, индейки, поросята, осетры, – этим русским ценностям никто не отказывался отдать честь, даже Лакшин с Сидоровым.

Ельцин произнес под чавканье своих министров очень патриотическую речь. Впервые, пожалуй, в своей жизни он упомянул «русских» и «Русь» – любопытно. Но еще до самого банкета, на котором и прозвучали эти вещие слова из лживых уст, приглашенным на прием по дороге к банкетным столам, по регламенту, нужно было пройти мимо президента и его супруги Наины Иосифовны и представиться им. Выстроилась длинная очередь, и чем длиннее она становилась, тем сильнее я чувствовал душевную растерянность, почти озноб, нужно было пожать руку человеку, которого я не только не уважал, но каким-то глубинным, лесным брянским инстинктом уже ненавидел. Нужно было не только пожать ему руку, представиться, но и сказать при этом несколько слов и улыбнуться, и это было совсем невыносимо.

В очереди никто ни на кого не обращал внимания, все готовились к торжественному, звездному моменту своей жизни; дамы напускали на лица скромные улыбки, мужчины незаметно поправляли галстуки. Не толпились, все соблюдали непринужденную английскую вежливость и сдержанность. Очередь двигалась довольно быстро. И тогда какая-то сила, с которой я уже не

мог справиться, заставила меня не торопясь, словно бы случайно, шагнуть в сторону – ладони у меня покрылись нервной изморозью. Я подумал, что скрытые камеры наблюдения записывают все происходящее, но ничего поделать с собой уже не мог, это уже был психоз, я не должен был оскверниться прикосновением к человеку, несущему на себе печать сатаны, – потом уже нельзя было бы очиститься от этого всей своей жизнью. А я ведь уже написал в последней книге трилогии, в «Отречении», сны возвращения Сталина в жизнь и его диалог с Брежневым на приеме на правительственной подмосковной даче, где на стенах проступали странные люди в масках.

И я, подчиняясь неодолимому внутреннему чувству, пользуясь обширными пространственными возможностями знаменитого кремлевского покоя, обошел президентскую чету с глубокого тыла, делая вид, что рассматриваю настенные росписи, и прошел в банкетный зал, минуя царственное рукопожатие.

А на банкете, где места были расписаны протоколом, оказался за одним столом с министром культуры и туризма (надо же придумать такое словосочетание!) Евгением Сидоровым, недавним ректором Литинститута; став министром, он первым делом вывел меня из состава коллегии министерства, где я числился вот уже несколько лет, как председатель Всероссийского фонда культуры, хотя об этом меня и не уведомили.

Наши глаза встретились, он поднял свою рюмку и лучезарно улыбнулся, приветствуя.

#### **02.04.92 г.**

Сегодня выпал сильный снег, и всё стало бело; появился какой-то перламутровый оттенок во всем: в березах, в небе, и только пруд стал темнее – черный-черный, в белой раме. Вечером на пруд опустилось несколько уток. Мы с Бимом пошли вечером гулять, и птицы, заметив наше приближение, шумно улетели. Утром в пруду плавает селезень – кряква. Идет дождь, с крыш капает, но снег держится, и всё вокруг дачного поселка бело. Березовый сок перестал течь, замерз.

#### **03.04.93 г.**

Сегодня ночью перечитал «Окаянные дни» Бунина. Сколько тоски, любви, ненависти, бессилия. И сколько затаенной надежды на возвращение привычного, уходящего в небытие русского бытия. Недоумевающий Иван Алексеевич Бунин, обнищавший русский дворянин и гениальный художник, обреченный на долгие годы изоляции и одиночества. Он не мог понять и принять, может быть, одного – обнажившейся в одночасье двойственности и зыбкости русской души, ее падкости на всяческие лжепосулы и лжеобещания, но этого никто и никогда не поймет и не объяснит, такой уж она выродилась из европейско-азиатского мрака, русская душа.

«Окаянные дни» – свидетельство бессильного в своем прозрении пророка, катастрофа уже надвинулась, и материковые пласты уже закрежетали, стали смещаться, но это не только катастрофа России, подступающий апокалипсис всего человечества. Столетием раньше или позже – какая разница?

\*\*\*

Перед отъездом на дачу, в Белые Столбы, у Павелецкого вокзала оживленная, странно озабоченная толпа. Киоски с товарами в ярких иностранных упаковках, большей частью химизированными и малопригодными к употреблению. Все торгуют, жажда денег огромна, всемогуща – она управляет толпой, движет каждым ее мускулом, каждым трепетом нерва. Деньги, деньги, деньги! Злата, злата, злата! Сей вожденный стон навис над Москвой, над новой, теперь уже капиталистической Россией, рвущейся в пещерный век частной

собственности. Хоть обглоданная кость, но моя, всё мое, от японского презерватива до отдаленных Галактик, на всем моя мета, мое несмываемое клеймо собственника, – на Кремле, на Боге, на душе ребенка. Безумие собственности волнует, будоражит кровь, заставляет раздуться ноздри. У главного входа Павелецкого вокзала, кстати превосходно отреставрированного в советскую эпоху, а практически заново отстроенного, пожилая баба, с крупной фиолетовой бородавкой на подбородке, с тремя огромными сумками (две через плечи, третья в руках) жадно роется в урнах, высасывает из пустых жестянок капли пива, чмокает толстыми губами, – бородавка у нее сладострастно дергается. Пустые жестянки она зачем-то рассовывает по сумкам. Зачем они ей?

Худой, с добрым лицом, милиционер подходит и говорит:

– Дура! Отравы подсыпят, тут же подохнешь!

– Туда и дорога! – бодро отвечает баба, высасывая остатки пива из очередной балки. – Одной душой меньше будет!

– Ну, а банки-то тебе зачем?

– Мало ли, может, и пригодятся... ишь, раскомандовался!

Милиционер молча смотрит на нее, и в глазах у него тяжелое русское бездеятельное понимание.

\*\*\*

В расписании поездов перерыв в полтора часа. Иду в соседний, рядом с вокзалом парк, скрывающий в глубине огромный ангар, хранящий в своем чреве то ли исторический паровоз, то ли не менее исторический вагон, в котором вождь мировой революции Ульянов-Ленин то ли куда-то ехал, то ли откуда-то приезжал...

Сажусь на скамейку в глубине парка, вокруг – никого. Зелень, сквозь нее рвутся потоки солнца, мысли и уродливый исторический ангар-саркофаг. Оглядываюсь – на робкой, едва-едва пробивающейся зелени газона, угнетенной тенью от деревьев, мальчик лет семи-восьми, с какими-то взрослыми и цепкими глазами, в коротких клетчатых штанишках. Тихая, странная улыбка в любой момент готова была исчезнуть; я смотрел на него, он на меня, – примерно такого же возраста у меня внучки.

– Ну, что случилось? – спрашиваю я, недовольный вмешательством жизни в свои трудные и пустые раздумья.

– Дяденька, у вас десять долларов есть? – неожиданно слышу я тихий, как бы шелестящий голос, и мое недоумение еще больше возрастает.

– Десять долларов? Зачем?

– А я все умею, не пожалеете, – слышится все тот же шелестящий голос, и улыбка меняется, становится более смелой, откровенно зовущей. – А здесь рядом, две минуточки... Ключ у меня...

Я давно уже слышал и знал, что в Москве такие вот мальчишки охотятся за иностранцами и продают себя чуть ли не на глазах равнодушных обывателей, но сейчас я, неожиданно столкнувшись с подобной жуткой и пустой реальностью жизни большого города в лице белокурого красивого ребенка, с пухлыми щеками, я, уже старый человек, почувствовал нечто, трудно передаваемое словами. Сердце отяжелело, улыбающееся лицо ребенка нырнуло на мгновение в черноту, затем вновь прояснилось, я боялся напугать маячившее передо мной беспомощное существо, как-либо оскорбить и унижить его, но я не знал, что же мне нужно было сделать. Я старался не шевелиться, застыв в каком-то душевном оцепенении.

– Садись, – предложил я, и мальчик, помедлив, пристроился на самый краешек скамьи, заболтал ногами; я по-прежнему чувствовал на себе его не по-детски оценивавший взгляд.

– Давай познакомимся, – предложил я. – Тебя как зовут?

– Витя, – неохотно и не сразу отозвался он.

– А с кем ты живешь, Витя?

– С бабушкой, – ответил он. – Старая, старая... голова трясется. А еще Сенька Гвоздь... он у нас главный, ему уже двадцать. Красивый такой, большой. Ох, какая у него дача! Десять комнат, не веришь? А вот и правда! Окна цветные, ванны зеркальные, кругом как здорово видно! Ух, как! Я у него целый месяц жил, а потом он Жорку Пуговкина взял... у него десять магазинов в Москве, три машины заграничных, вот! А теперь ему надо тридцать зеленых приносить каждую неделю, а то в гараж на ночь запрет... Там у Гвоздя такие дружки из охраны...

Глаза у мальчика застыли, и он передернул плечами и сразу же, совсем по-детски, оживился.

– Правда, дяденька, пойдем, а? Только выпить взять, совсем немножко, правда, не пожалеешь...

И тут я заметил, что он смотрит на мою куртку, которую я лет пять тому назад купил в Чикаго, на эмблему и надпись над накладным карманом, и сразу всё окончательно понял. Меня приняли за иностранца и решили попотчевать за определенную мзду ребенком – Россия, с помощью демократов, стремительно наверстывала уже проделанный Западом путь деградации и распада человеческой личности. И вновь тихий и бессильный озноб сердца заставил меня замереть; нужно было что-то сказать, сделать, но я не знал что, привычный мир рушился и распадался.

Внезапно, где-то в зелени кустов, раздался негромкий, но резкий, повелительный свист, мальчик, переменившись в лице, сорвался в места и, не разбирая дороги, через газон, бросился прочь к выходу из парка.

Через полчаса мимо привычно мелькали загаженные, заваленные мусором овраги и склоны околорельсово-железнодорожных пейзажей, еще не затянутые веселым покровом едва пробивающейся зеленой травы; у меня на коленях лежали газеты и новый номер журнала «Слово», одного из лучших наших современных журналов, но читать я не смог. Зато напротив, удобно устроившись, развернула дорогой дамский журнал в броской лоснящейся обложке дама лет сорока. Она как-то одновременно небрежно листала, не читая, ярко иллюстрированные страницы, и вызывающе шумно шелестела фольгой, откусывая от широкой плитки шоколада; все ее перезревшие пышные формы выражали довольствие и вольготность.

### **09.05.93 г.**

Тверская. От Белорусского вокзала до Пушкинской площади медленный, мощный, уверенный в своей правоте и силе человеческий поток. Море красных, черно-желто-красных, червленых знамен и плакатов, транспарантов – ответ на кровавые события Первого мая. «Фашизм не пройдет!», «Ельцин – убийца!», «Даешь СССР!», портреты Сталина и, как самое дорогое, рожденное в недрах народной души: «Русские идут!». Портрет Сталина и перечеркнутый Тверскую ликующий красный транспарант: «Русские идут!» – это уже игра стихий, подземный гул длящегося безвременья, готовый перейти в извержение.

Говорят, все улицы и переулки вдоль Тверской забиты ОМОНОм, милицией, пожарными машинами, войсками, но демонстрация уже почувствовала свою мощь, человеческий поток, казалось, неистощим, в него откуда-то, словно из подземелья, вливаются все новые и новые реки.

Много молодых, женщины с детьми, фронтовики, надевшие боевые ордена, на тротуарах и на балконах домов несметное количество репортеров с телекамерами, встал, идет сам народ, по своему городу, по своей земле, взрываясь иногда в самых неожиданных призывах, и тогда в каменном русле улицы гремит: «Фашизм не пройдет!», «Ельцин – убийца!» И во всем этом какое-то мистическое, мрачноватое очарование, какой-то гипнотический ток, пробегающий мгновенно по всей Тверской.



Демонстрацию возглавляют ветераны Великой Отечественной, следом движется Фронт национального спасения, затем «Трудовая Россия», идут колонами коммунистические организации, анархисты и Бог знает кто еще, но чувство единства движения не ослабевает, не прерывается. Многочисленные торговые палатки и магазины задраены железными щитами и решетками, и чем ближе к центру, тем больше на тротуарах настороженных, растерянных, а то и враждебных лиц. Хорошо одетые, ухоженные, откормленные – возрожденный режимом Ельцина новый российский класс буржуа, новые хозяева жизни и России, они вышли самолично взглянуть на неожиданную опасность, на «русское быдло», на «совковую сволочь», они стоят во всем иностранном, дорогом, с уже космополитизированными детьми, равнодушно жующими жвачку и шоколад с орехами, и в глазах новых русских зеленоватая долларовая мусть и плохо скрываемая ненависть.

Развращенные безграничной личной собственностью планета и ее экология уже больше не выдержат, нужна иная, ограничительная и распределительная разумная философия, и она должна выкристаллизоваться именно из недр и хаоса социалистических учений, из приоритета духовности над потреблением, и здесь не обойтись без исторического советского опыта России или опыта Индии.

Эволюционный процесс, как и всё в природе, неумолимо закономерен – распад обогащает вечную почву жизни, возвращает в нее зря затраченные в тупиковом всплеске силы созидания, и остается только гадать, каким будет очередной взлет России? И когда он наступит? И может быть, эта могучая народная демонстрация в День Победы – начало какого-то нового начала?

### **30.05.93 г.**

Итак, вакханалия продолжается, лютует телевидение, его задача – патриотизм подменить нигилизмом, нравственность – вседозволенностью, честь – подлостью, созидание – торгашеством, Бога – сатаной, мужчину – женщиной и наоборот, заставить дерево расти корнями в небо.

Резонно задать вопрос: а что же великая русская литература и культура? Что же ее виднейшие представители, претендующие на роль пророков и исповедников народной души? А ничего, они в прежней своей роли на подмостках этой гигантской сцены, называемой Россией. В подавляющем своем большинстве, трубя о народе, не котят знать никакого народа, не любят и боятся его. В годы горбачевско-ельцинской истерии только исконная корневая русская литература выдержала и продолжает выдерживать суровый экзамен на верность народу, его глубинной национальной сути. Одного за другим теряя своих бойцов, она не пошатнулась. Но есть и потери. Виктор Астафьев, один из ярких прозаиков второй половины XX века и молитвенных коленопреклонителей перед солженищевщиной, отказал русскому народу в праве на будущее, на борьбу за свое естество, в праве на свою историю и откровенно заявил, что русского народа, вообще-то, больше нет и, следовательно, нечего всякому быдлу и пьяни мутить чистую воду и выходить на площади – мало, мол, его, этот народ, угощали дубинками и коваными сапогами власти предержавшие! Что это? Бред, старческий маразм действительно классического пьяницы или всего лишь тусклый блеск серебряников? А ведь история ничего не спишет, ни одного неосторожного, запальчивого слова.

Радуйтесь, господин Астафьев, певцы кнута и гуляющей по спине народа дубинки всегда ценились властями предержавшими, но они никогда не смели больше открыто взглянуть в глаза матери, не могли радостно улыбнуться ребенку, у них этого никогда почему-то не получалось. Они могли только притворяться, скоморошничать и лгать. Ах, господин Астафьев, господин Астафьев! Вы даже не подозревали, что за блистающий ряд зачинаете собой, какую смелость вкладываете в души ненавистников русского народа, наконец-то обретших полную, абсолютную

свободу самовыражения. У российского обывателя, брошенного ныне в рынок общемировых ценностей и все больше трезвеющего, глаза на лоб лезут!

Но остаются бастионы русского национального самосознания, вспомним хотя бы самолет перестройки Юрия Бондарева, взлетевший вслепую и не знающий, на каком болоте ему придется садиться, и фонарь гласности на краю бездны, и многое другое, но беда, пожалуй, даже не в этом. Беда – в хронической, застарелой болезни русской творческой элиты, национальный защитительный инстинкт которой начисто отсутствует и даже перед лицом общерусской трагедии.

К булгаковской истине, что рукописи не горят, стоило бы добавить, что истинный талант свободен, и ни тюрьма, ни сума не могут его унижить и в каждом художнике следует различать две его сути – высокую божественную и обыденную, человеческую, весьма часто выплескивающуюся в самых низких, а то и порочных проявлениях. Но связует поколения и эпохи только высокое, грех и прах остаются земле, в этих отложениях скрыта загадка бытия. И у Бондарева, как у любого другого, свои взлеты и падения, его нет нужды защищать или оправдывать, его место уже определено временем и мерой его таланта, чужого места он не займет. Так уж устроено, и этого никому не дано изменить. И бондаревский кровавый пот Сталинграда уже невозможно отделить от народной судьбы, даже если этот пот и этот подвиг потом предадут и продадут за серебряники. Интересно было бы проследить, как бы сложилась судьба нашего чудного русского обывателя, не окажись Бондарева и миллионов ему подобных в аду Сталинграда и не сплавься их тела и души с самой русской землей?

Всё приходит и уходит, переливается из одного в другое, сменяются поколения, и каждый должен обрести свой опыт и свой путь. Но есть нечто и стержневое в череде поколений, свершений и прегрешений человеческих – память родной земли, ревниво хранимая космосом в хрупком существе человека и бережно передаваемая от отцов и дедов к сыновьям и внукам.

Русские раздоры и склоки... Преподобный Сергей Радонежский горестно заметил: «Эта ненавистная рознь мира сего...» Неужели только большая народная кровь способна объединять и возвеличивать Россию? Когда же Бог прояснит наши души и наш разум, и мы увидим истинного нашего общего врага и объединимся для святой борьбы?

\*\*\*

Итак, новый фильм по сценарию В. Крупина, по одной из его повестей, кажется по «Живой воде». Глухая вятская деревушка, приткнувшаяся к какому-то индустриальному объекту с высокими трубами. Скотоподобные мужики и еще более скотоподобные бабы, полупридурики, полуидиоты, черви, копошащиеся в дурно пахнущей навозной куче, обильно и непрерывно поливаемой авторами фильма водкой. Все принародно мочатся, испражняются, похотливо лезут друг на друга – от экрана разит неистребимым запахом свинарника, и стыдно взглянуть на сидящих рядом женщин с детьми. Главный герой в исполнении Ульянова выпивает все ему положенное и решает завязать; он разбивает бутылки с зельем, начинает копать в глубь земли то ли тоннель, то ли колодец в поисках живой воды, но он не только не спасает близких своих, но и усугубляет общее скотство. Иванушки-дурачка из Ульянова не получается и не может получиться – слишком уж он рассудочен в напыленной на него авторами фильма маске, слишком люто ненавидит тот народ, в среде которого ему выпало родиться и жить. Тем более что рядом с ним через фильм проходит другой воитель – бывший стукач КГБ, опустившийся и циничный, в самой поре мужского климакса, только об этом и думающий, только этим страдающий. Не правда ли, какая глубина мысли и какая смелость в наше время? Бедный КГБ, даже и подобный ракурс не ускользнул от внимания его рьяных исследователей. А дело-то всё в том, что бывший агент и стукач в мужском деле бессилён, бабы стаскивают с него штаны и в сарае,

и дома, валят его на постель, а он, ну, не может... Вот такая философия высветилась, вот до каких вершин поднялась могучая крупинская мысль!

Дорывшись наконец в своем подполье до «живой воды» (уж не до горбачевско-ельцинской ли перестройки?), автор вместе с его главным героем оздоравливают этой чудодейственной влагой весь погибающий народ, но тут опять вмешивается заскорузлая советская бюрократия, фонтан «живой воды» опечатан и законсервирован, а затем следует логический финал. Народ из-под полы начинает именно торговать «живой водой», народ не принял чуда (оздоровления и перестройки?), и фонтан, естественно, взрывается, из него начинает бить гейзер чистого спирта, и обезумевшее от счастья народонаселение растаскивает огненную жидкость в корытах, лакает прямо из луж – и вот апокалипсис. Фонтан загорается, и все тонет в адском огне, главный герой закапывает в землю свои боевые ордена и растворяется в неизвестности, надо думать, до следующего пришествия, когда народ будет готов по-настоящему к принятию истины.

Иван-дурак всегда завершал свои похождения победно, превращался в писаного красавца, приводил домой жену-красавицу или становился богатым и мудрым. Крупин «обогатил» народную традицию типом дурака-неудачника.

Выходя из зала после окончания фильма, люди делали вид, что торопятся, старались не глядеть друг другу в глаза – очень уж наглой и откровенно проституционной была эта картина, она оскорбляла самую нравственную основу русского мирозерцания.

### **05.06.93 г.**

Сегодня неистовым гулом аплодисментов и злобными выкриками делегаты президентского конституционного совещания изгнали из Кремлевского зала председателя Верховного Совета России Хасбулатова и его сторонников – не дали ему даже говорить. Вместе с ним ушли и многие народные депутаты, и, кажется, члены Конституционного суда. От дюжей президентской охраны досталось народному депутату Слободкину, да и самому генеральному прокурору РФ Степанкову. Телекамеры накоротке, стыдливо приоткрыли перед зрителем закулисную картинку; в проходе охранники, с борцовскими плечами и крутыми стриженными затылками, выламывают руки народному депутату; мелькнули и упитанные лица демвождей – Гавриила Попова, Собчака, Гайдара. Пророкотал родной «отцовский» голос:

– Отпустите его! И извиниться надо! Извиниться надо, извиниться!

Какая унижительная потеха – перестроечный Иван-дурак, схлопотав прививку бациллы общемировых ценностей, продолжает выкидывать фортели, уже не на западный лад, а на какой-то чилийско-гватемальский.

Сизые жирные трупные мухи роятся над русским народом, над его разъятым телом и в Прибалтике, и в Молдавии, на Кавказе и в Средней Азии, в Москве и Санкт-Петербурге, в далеких морях над русскими кораблями, и начинаешь думать, что Украина на двести процентов права, не желая выпускать из своих рук атомного оружия, – тут же обгложут до костей.

### **05.10.93 г.**

Свершилось. Вчера в ночь на Россию надвинулся демфашизм, надвинулся и закрыл небо, перехватил дыхание у миллионов. Прославленная Кантемировская дивизия из танковых орудий в упор расстреляла Дом Советов на Краснопресненской. Били прямой наводкой и показывали всё это по телевидению – такого цинизма история человечества еще не знала. Бедный черкес Хасбулатов, оказавшийся организационно и практически еще более бездарнее своего напарника Руцкого, совсем растерялся. Он-то, видимо, надеялся, что его все-таки поддержат народ и армия, у него в крови бродило понятие о какой-то офицерской чести и достоинстве, но он схлестнулся

с древнейшей ростовщической моралью, не признающей ни души, ни сердца. Сотни трупов, сотни искалеченных, и в то же время телевидение, радио, демгазеты оголтело лгут и с дикими глазами объявляют виновным во всем Верховный Совет. И даже приклеили ему обвинение в вооруженном восстании, заговоре.

Что происходит с людьми и с самим народом? Что происходит с армией? Вновь русские уничтожают русских, вновь бессмысленные тупые лица солдат, твердящих с экранов о выполнении приказов, но в «этой» стране отныне теперь уже никогда не будет главенствовать закон и право, а только ложь, низость и свинцовый кулак. Правящая олигархия вновь цинично солгала, клятвенно заверяя, что армия останется нейтральной, и две танковых, две мотопехотных дивизии, какие-то десантные части были тайно и заранее введены в Москву, а затем началась тщательно и заранее спланированная провокация против народа и оппозиции; дурацкое взятие мэрии, атака на телецентр, экстаз толпы, подогреваемый правительственными провокаторами, и в армию, убивающую собственный народ, внедряется синдром неполноценности, бацилла предательства и разложения. И самое тяжкое – ложь правительства, ложь «всенародно избранного», его отвратительный цинизм, его вероломство в отношении народа; по его приказу танки Кантемировской и Таманской дивизий прямой наводкой колотили по зданию Дома Советов, термитные снаряды прошивали стены насквозь, рвались в помещениях, забитыми людьми, десятки молодых жизней, поверивших в «демократию», заживо сгорели – именно в этот черный день четвертого октября Дом Советов стал кладбищем зарождавшейся молодой русской демократии и государственности.

И теперь России предстоят десятилетия духовной и национальной тьмы; это тотчас поняли во всем мире, и в Китае сразу же возобновили испытания ядерного орудия. Свет надежды начинал вновь брезжить на Востоке.

\*\*\*

По центральному телевидению невольные палачи, обыкновенные русские люди, офицеры и солдаты, подавлявшие «вооруженный мятеж» и в упор расстрелявшие собственный Верховный Совет, дают героические интервью о своих подвигах.

Некоторые требуют вознаграждения – квартир для офицерского состава и увеличения довольствия, некоторые рассказывают, как их вкусно кормили...

Пустые, холодные, безразличные глаза, равнодушные лица. До чего же дошла Россия, хочется завывать от тоски и ужаса, сжечь всё написанное, но кто-то же должен продолжать бесстрастную летопись.

\*\*\*

На третий день был у Дома Советов, близко к нему не подпускают.

Заграждения, танки и БТРы, автоматчики, десантники, всё те же лица манкуртов. Дом Советов в верхней части почернел от огня, траурно выгоревший. В нем нашли себе успокоение в основном молодые, жаждущие истины и свободы патриоты – сюда, к центру Русского сопротивления, как магнитом, притягивались лучшие со всей огромной, необозримой русской диаспоры, сюда ехали, пробирались из Осетии и Крыма, Приднестровья и Прибалтики, сюда втягивались ростки русского возрождения, и этого, разумеется, не могли допустить мировые силы зла, и они этого не допустили. Но кровь – страшная и пророческая сила, кровь всегда рождает новую кровь, кровь никогда бесследно не исчезает, и вот уже над просторами Азии гремит новый атомный взрыв.

\*\*\*

Итак, теперь перед Россией высветилось три дороги: смириться с режимом, начать освободительную борьбу или вновь вступить на путь Ивана Калиты – крупица за крупицей восстанавливать и наращивать национальное здоровье, копить силы и ждать еще одного своего крестного часа.

Реален хоть один из этих путей? На первый взгляд – нет, все три круга ведут к катастрофе российской государственности, к вырождению и уходу в небытие русского народа... Но кто, хоть однажды, проник в замыслы творящего Космоса?

### **31 октября 1993 г.**

Жизнь идет. Растут цены, и глупеют люди. Оказывается, для удержания власти, любой, пусть самой антинародной, как сейчас, достаточно лишь иметь массовые средства оболванивания и беззастенчиво лгать.

Шумейко со своим лошадиным лицом неподражаем; каким-то образом стал министром информации и печати и всё с тем же идиотски-счастливым лошадиным выражением лица беззастенчиво, напропалую врет. И о том, что наступило счастливое время демократии, и о том, что правительство никаких газет не закрывало и не собирается закрывать, и что в «Правде» и в «Советской России» были всего лишь сняты главные редакторы за призывы свержения существующей власти.

Москва тонет в роскоши и нищете; нищих всё больше и больше, на стариков в магазинах, перебирающих свои деньги дрожащими руками, больно смотреть. Хлеб с 28 октября опять почти вполтину подорожал, перевалил далеко за две сотни. И белый, и черный. Гайдар лопается от жира, у этого деятеля тоже теперь уже не лицо, а нечто солнцеподобное, сияющее, как начищенный поднос.

Вся предвыборная кампания в России, по-моему, разбилась на два десятка блоков во главе с бурбулисами, гайдарами, поповыми, шахраями, явлинскими и т.п., и все они наперебой кудахчут о скорой возможности улучшения жизни русского народа, все вдруг стали государственниками и радателями земли русской. Черниченко, так тот даже стал чище выговаривать некоторые согласные русского алфавита, а великий музыкант целой эпохи, всегда успевающий на «свою русскую родину» к горячему пирогу и на этот раз постаравшийся заглушить своим американским оркестром стоны и крики расстреливаемых в упор безоружных людей, получил от японского императора премию – сто сорок тысяч долларов. Удивительная забота о таланте!

Ну а сам всенародно избранный, с большим воодушевлением разнесший в пух и прах Дом Советов из танковых пушек и потопивший народное недовольство в крови, отошел на время в тени и своевременно нажимает клавиши в своем дьявольском органе под покровом непроницаемой завесы лжи и демагогии, раскинутой вокруг него верными нукерами.

Дистрофически исхудавшая от перестройки и гласности Россия ликует и громко возвещает осанну своему Борису Кровавому. Парадокс? И тем не менее...

\*\*\*

В Россию рвется любезнейший ее друг Солженицын, преподнося это как некий дар небес русскому народу, за который ему же, Солженицыну, надо лобызать не только ручки, но и ножки. Еще один лжегений, отдавший все свои силы на разрушение русской государственности. Еще один лжеклассик. Если уж после площадного концерта Ростроповича вылилось столько русской крови, то чего же ожидать теперь? Ведь многоликая лжерусская перелетная публика прочно и на веки вечные не только связана в скрытой, неистребимой ненависти к русскому народу, хотя

паразитирует, довольно ловко и умело, и на его истории, и на его культуре, и на его языке, но она еще и умеет преподнести свою зоологическую ненависть как страстную любовь. Неисповедимы дела твои, Господи... Можно было бы закричать о данайских дарах, но кто в пространстве, одурманенном водкой и вездесущим телевидением, услышит? Может быть, только одна ретивая журналистка Маринич, с остервенелым оскалом хватаящая любого с ней несогласного, особенно если он русский патриот; уж тогда она своими остервенками демократическими зубками на ходу прокусывает даже толстые кордовые подметки. Страсть Господня, да и только.

### **28 ноября 1993 г. Тверь**

25 ноября в 1.15 скончалась Серафима, мятежная душа, без стога, беззвучно, ушла незаметно и тихо, по словам соседки в палате, перестала дышать и всё.

До конца она оставалась независимой, была верна своему выбору – служить театру. Пожалуй, ее всепоглощающая страсть и определила сам характер смерти – выпали зубы, необходимо было, чтобы продолжать служить в театре, вставить челюсть, а сил уже не было, и челюсть не получалась, и оставались одни муки. Нужно было пристроиться и жить в семье дочери спокойно и тихо, но характер не позволил, вечная неудовлетворенность в творчестве продолжала точить.

До этого, в мае сего года, я видел странный сон – тьма, белесая дымка в пространстве; из нее появляется Рустам Константинович, покойный тесть, – привиделся впервые после своей смерти восемнадцать лет назад. Появился и держится как-то в отдалении, в зимнем своем пальто с каракулевым воротником и зимней, тоже каракулевой, шапке пирожком, а вокруг по-прежнему белесая тьма. И я ясно слышу, как он говорит Серафиме: «Что-то ты загулялась, собирайся, пойдём». И она, как всегда с ним, покорно собралась, и, держась рядом, они стали отдаляться и растаяли всё в той же белесой тьме.

После этого я проснулся, и у меня было нехорошее ощущение, стало не по себе; прошло несколько дней, а я все пересказывал свой сон сыну; не знаю, помнит ли он.

– Умрет твоя бабка в этом году, Алексей, думаю, зимой, – сказал я, вспоминая, как тепло был одет привидевшийся Рустам Константинович, но сын не обратил на это внимания, и вот все сбывается именно в ноябре. Девятого Серафима, отправившись к зубному врачу-протезисту уже в сотый раз, попала в катастрофу: из переполненного троллейбуса при выходе ее просто вышвырнули, и она получила сотрясение мозга и сломала шейку правого бедра, а через две недели, ночью, всё было кончено.

27 ноября смотрели с Лилей спектакль «Цена» на малой сцене в Тверском драмтеатре. Пожалуй, я впервые понял Серафиму, решившую сражаться до конца и умереть в театре; человек – прежде всего сгусток прошлого, всегда бунтующий против будущего и всегда побеждаемый во имя будущего. Сама смерть – средство перехода в иное качество; но прошлое имеет право на свою борьбу, как и грядущее в своем неприятии прошлого.

Серафима не могла больше жить, она не понимала и не могла принять всех этих перемен, ваучеров, сникерсов, пошлостей навязываемой нам насильственно американизируемой цивилизации, открыто лгущего правительства...

На спектакле «Цена» зрители (а их было около 50 человек) собрали четыре тысячи рублей на цветы для режиссера Серафимы Плисецкой.

### **03.12.93 г. Тверь**

30 ноября похоронили Серафиму рядом с мужем, которому она всю жизнь служила и за которого боролась. Они легли рядом, голова к голове. Провожал ее весь театр, день был солнечный и морозный. Была гражданская панихида в фойе театра, менялся караул. А сегодня,

третьего декабря, уже девять дней после кончины, время вновь побежало вприпрыжку. По Твери надписи и плакаты с проклятиями в адрес Ельцина и его команды. «Ельцин – палач!», «Ельцин – фашист и убийца!». А по телевидению и радио, в проправительственных газетах (других, кажется, не осталось в России, всё запретил кровавый «демократ») всюду истошный барабанный треск во славу президента и его убийственной для России и русского народа политики, везде хвалы его гению палача и деспота. Поистине мир сходит с ума. На носу выборы, которые, опять же по гениальному президентскому указу, действительны всего лишь при явке 25% избирателей. Каково? 12,5% дееспособного населения России правомочно утвердить Конституцию и избрать высшие законодательные органы страны. Неслыханно! И это после расстрела собственного Верховного Совета...

Да, жизнь продолжается. Когда Серафиму забирали из морга, то служительница этого мрачного, но необходимого заведения была в кокетливых бигуди; у нее были очень выразительные темные глаза, очень глубокие.

А соседка Серафимы по лестничной площадке, весьма странная женщина, живущая с глубокой старухой-матерью, двумя собаками и пятью кошками, зовет одного из своих котов итальянским именем – Антонио.

– Антонио, – говорит она строго и важно. – Идем домой, пора.

На похороны приезжали Алеша с Катей; Алексей увлечен своим новым делом – театром и сразу же, на другой день, уехал. У него были назначены срочные деловые встречи, но я не думаю, чтобы он мог долго выдержать Дороницу.

### 13.12.93 г. Тверь

Вчера состоялись (?) выборы в парламент, как теперь уже принято говорить, и референдум по новой президентской конституции. Почти всю ночь смотрели передачу из Большого Кремлевского дворца. Демократы-правители и их гости, с женами и без оных, пили шампанское, жрали всяческие деликатесы и ругались. Их раздражали успехи Жириновского и коммунистов, информация о которых начала просачиваться в пирующий зал, – пир во время чумы... Никакой Гойя со своими капричос не смог бы передать лики пирующих демократов. Столько злобы, да судорог, да бешеной слюны, ненависть в лицах, заполняющая все пространство огромного зала; истерические вопли: «Фашизм идет!», «Все на борьбу!», особенно отличались Чубайс, Гайдар, Полторанин, а Корякин, трагически воздевая руки, стонал: «Россия, ты сошла с ума!»

Русский народ, где ты? Откликнись! До недавнего времени он позволял себе усомниться в их, демпалачей, праве владеть и княжить, и, самое главное, жрать, жрать, жрать и разрушать, разрушать построенное.

В зале ни одного русского писателя, художника или артиста, сидит обвалюно рухнувший за последние месяцы и никому здесь не нужный Евгений Семенович Матвеев, курит – лицо потустороннее, худое до изнеможения. Что он забыл на балу сатаны?

Ведь все происходит не по закону: конституция, принимаемая одной четвертью избирателей, выборы карманного президентского парламента в то время, когда замерзают города, останавливаются сотни заводов, голодают и умирают от недоедания и болезней каждый год по миллиону человек. Россия действительно сошла с ума, и неизвестно, опомнится ли.

Похолодало, за окнами летит редкий крупный снежок, в природе тишина и покой. Поездка в Ирак очень некстати, что-то мешает, хотя окунуться в иную жизнь, в иную цивилизацию было бы очень полезно, необходимо. Иракцы, одни из немногих, остались сами собою, остались народом и гордо несут голову перед наглостью и бешеным натиском американцев; даже ненасытный, всегда голодный заокеанский желудок, именуемый США, зашелся в судорогах несварения, попытавшись переварить еще одну древнейшую в мире цивилизацию.

Когда же в России появится свой Саддам Хусейн? Жириновский? Но этот что-то чересчур

прыток, уж не новая ли подсадная утка из смрадных глубин?

### **20.12.93 г.**

Вчера прилетели с Журавлевым в Амман. Самолет был переполнен, очень много детей. Летели хорошо, как и было заявлено нам вначале; в аэропорту Аммана, как всегда, часа три заполняли декларации, затем нас сразу же повезли через весь город, похожий по колориту и по расположению на убегающих над морем холмах на Сан-Франциско.

Шофер, представившийся нам просто как Мухаммед, привез нас куда-то на окраину, вероятно к своим родственникам или близким знакомым; несколько молодых мужчин и много детей, три или четыре девочки, два мальчика, все здоровые, чистые, любознательные, без всяких капризов. Старших не боятся, хотя слушаются мгновенно, по одному слову.

Угощали фаршированными перцами, оливками, лепешками и чаем; арабы очень общительны.

Затем поехали в Багдад. Ехали почти всю ночь, часто проверяли паспорта и везде ставили отметки. Поразили дороги, таких я не видел ни в Америке, ни в Европе, и это чувство, очевидно, от ночной безлюдности. Дороги, ровные, как стрела, широченные, а по самому Ираку так еще лучше.

Шоферов двое; ведут машину по очереди. Ночная пустыня удивительно гармонична – дорога, дорога и пустота. Бархатная глубокая темень по сторонам. Когда останавливались и выходили размяться, было холодно, и я пожалел, что не взял куртку.

### **21.12.93 г.**

Поселили нас в отеле «Гарун-аль-Рашид», в официальной части Багдада, в отеле на самом входе, на полумраморе, выложен портрет Рейгана, и его попирают ногами все входящие и выходящие из отеля. Весьма символично. Вечером был прием в Союзе писателей Ирака. Здесь недавно переизбрали начальство, и на встречу пришло молодое, вернее, среднее поколение. Ужин обилен, подавали жареных голубей на вертелах – очень вкусно. Много горячительных напитков, но еще больше желания понять, что же происходит в мире и куда катится человечество. Мухаммедов у арабов еще больше, чем у русских – Иванов; творческая интеллигенция, писатели, художники, композиторы, получают от государства стипендии ежемесячно, очевидно, этим и живут; после блокады с бумагой очень трудно; продукты и самое необходимое (мыло, сигареты, зубная паста и т.д.) распределяются по карточкам.

Наш переводчик, господин Гази эль Абади, бывал раньше в Москве и тоскует о тех временах. Жалуется на блокаду и ругает американцев, никак не поймет, что случилось с Россией. А кто поймет?

У него внимательные умные глаза, светлые, глубокие, манеры изнеженного восточного интеллигента. Рассказал нам, что у них недавно вышел закон – каждому писателю государство дает по 300 м<sup>2</sup> земли для строительства дома. Многие землю продают, стоит она 250 тысяч динаров, и это укрепляет их благосостояние, дает как бы первоначальный толчок для разбега. А так бумаги нет, печататься почти невозможно. США, а вернее, Израиль, что, впрочем, одно и то же, планомерно и упорно удушают арабский мир и его стремление к самостоятельному национальному развитию.

### **22.12.93 г. Багдад**

Не успеваешь ничего записать. Обеды, ужины, разговоры. Вчера ездили в Вавилон – 180 км. Дорога на юг, было даже жарко. Финиковые пальмы растут здесь везде, как у нас ракиты или березы, пробиваются на любом свободном клочке земли. Они здесь, словно сирень в московском



или рязанском палисаднике, торчат перед каждым домом, – это хлеб и безопасность араба. Везде торгуют фруктами, зеленью, везде чай в миниатюрных стаканчиках; перед лавками висят разрубленные бараны. Но везде машины, машины, машины – ни одного верблюда или коня не видели. Только бараны и коровы.

Вавилон поражает своей грандиозностью. Многие реставрированы, на улице Парадов сохранились настенные изображения, но большее количество древностей увезли немцы в Берлинский музей. На экскурсии в Вавилон приезжают дети с родителями и учителями; здесь пока очень много детей... А вообще Вавилон с его династиями, вплоть до Навуходоносора и позже, и та груда распавшейся глины, в которую прославленный город древности превратился и поверх которой теперь вновь возводятся (реставрация) гигантские стены храмов, разбиваются площади, растут улицы, – всё наводит на грустные мысли, и вспоминается библейская мудрость: всё суета сует.

Над страной, над древнейшей цивилизацией, течет спокойная, медленная жизнь; поколение за поколением рождается, торгует, стареет и умирает. Замечательно строят. За два года в Багдаде построили своими силами и материалами великолепный мост через Тигр. Мост Саддама. Двухуровневое, грандиозное сооружение – в каждом уровне одностороннее движение. Что-то подобное я видел только в Сан-Франциско – мост, переброшенный через океанский залив.

Вечером ездили по ночному Багдаду, были в мастерских у художников – примитив вроде нашего лубка, много керамики. Ночной Багдад очень красив, залит огнями, жизнь не замирает до полуночи; открыты все магазины, рестораны, харчевни, опять были на мосту Саддама, затем подъезжали к площади Парадов, где много любопытного. Две арки замыкают эту площадь; арки в виде двух скрещенных гигантских мечей – рукоятки в землю, лезвия в небо. Рукоятки утопают в грудах настоящих солдатских касок, взятых у иранских солдат в последней войне с Ираном. История повторяется. От черепов – к каскам. Но площадь Парадов тоже очень красиво и хорошо устроена – трибуны, арки, подсветка.

В Багдаде сейчас более 4 миллионов жителей. Были еще на берегу Тигра, на набережной, сплошь уставленной рыбными харчевнями. Это навесы, под ними расположены бассейны с живой рыбой, очаги, в которых пылают дрова, а вокруг огня жарится распластанная рыба. Чуть поодаль – столики. Все просто и разумно. Обслуживающие два-три человека. Рыбины – гигантские; килограммов в десять, это обыкновенный карп. Посетителей почти никого, так, два-три человека. Но везде вас готовы принять и обслужить, везде готовность номер один. В Тигре, говорят, еще чистая вода и можно купаться.

\*\*\*

Хади Ясен – художник и поэт, заместитель председателя Союза писателей Ирака, очень симпатичный человек, кажется попивающий. Подарил свои портреты – Пушкина и Горького, очень и очень талантливые.

### **23.12.93 г. Багдад**

Вчера был весьма насыщенный день. В 12 состоялась пресс-конференция – было телевидение и несколько газетчиков. Ответили на ряд вопросов, отобранных Гази. Нас заранее попросили не касаться Ельцина – дорожат каждым голосом в вопросе снятия блокады Ирака; как еще здесь плохо знают этого нашего «всемирно избранного».

Затем были в культурном центре Саддама – познакомились с творчеством иракских художников. В основном – модерн, разъятие, есть очень талантливые по колориту вещи, но здесь вступают в противоречие искусство и религия, запрещающая вмешиваться в творение аллаха,

в человека и его тело; стремление художника познать предмет как можно глубже сурово пресекается.

Есть интересные скульптуры. Сам центр великолепен, как всё, что строится в последнее время в Багдаде, – дороги, мосты, гостиницы.

Часов в шесть вечера опять состоялась встреча с иракскими писателями – их в Союзе писателей около двух тысяч. Их приехало довольно много, человек сто с лишним, среди них две женщины. Вопросы больше касались России и ее положения – почему, как произошло, что будет с ее литературой и культурой. Писатели все приехали на собственных машинах, возраст у них молодой, до сорока примерно, все хотят знать, но не имеют представления о современной литературе в России и о том, что с ней происходит. Им, как и везде в мире, известны лишь фигуры одиозные – Евтушенко, Вознесенский; но видно: знают классику, любят Шолохова, Есенина.

После встречи поехали есть рыбу по-иракски; ее выбирали в садке при нас, лишили живота, разделали особым образом, вывернули через живот и поставили жариться перед естественным жаром костра, укрепив на двух колышках, тут же вбитых в очаг по размеру рыбы. Это целое священнодействие; хозяин очень важен и все время о чем-то переговаривается с нашим переводчиком. Пока рыба доспеет, пошли гулять по набережной – везде жарят, варят, едят, торгуют, много зелени, день очень теплый и солнечный; прекрасный зимний день, как выразился Гази. Странно даже, что сейчас в Москве грязь и снег и все безнадежно, когда вокруг тебя сейчас такой вечный праздник жизни.

Наступило и главное таинство: рыба была готова, ее водрузили посередине стола на огромном блюде, подали салат, лук и гору пресных лепешек, объявили, что есть надо стоя. Все встали, и председатель Рад сказал, что это пиршество посвящается сыну Саддама – министру культуры Ирака. Вознесли молитвы, и все стали есть просто руками, кладя куски рыбы и зелень на лепешку. Полная раскованность и свобода; здесь это очень дорогое блюдо и далеко не всякому доступно. Надо было видеть, с какой животной страстью была съедена рыба; проглянуло нечто из пещерных времен. Затем покормили из рук друг друга остатками, вымыли руки и пошли в чайхану пить чай и курить кальян. Чайхана – это что-то вроде народного дома, здесь можно сидеть, пить чай, играть в нарды, шашки, бильярд и т.д. А то и просто сидеть на людях и не скучать; и работает это прекрасное заведение чуть ли не круглые сутки. В центре огромная выставка русских самоваров – от самого маленького до громадного, в несколько ведер вместимости. Обслуживают только юноши. На нас обращают внимание, Сергей снимает своей камерой, и нас угощают печеньем. Очень дружелюбный и спокойный народ.

Впервые в этот день ощутился подлинный Ирак, его колорит, его ритм.

Вернувшись в гостиницу поздно, часов в 11, обрадовались – дали горячую воду.

\*\*\*

Сам отель «Гарун-аль-Рашид» – огромное заведение с фонтанами, базарами, ресторанами – город в городе.

### **25.12.93 г.**

Вчера был день путешествий, проделали 400 километров туда, 400 – обратно. Всё те же прекрасные дороги, те же базары. Посетили какой-то старый грандиозный город, превратившийся в груды осевших холмов, кое-где с торчащими остатками башен и стен, дворцы давно ушедших в неизвестность правителей еще, как правило, держались – стены невиданной, в три-пять метров толщины.

Побывали и в древней столице Ассирии – Ниневии; здесь ведутся активные раскопки и

реставрационные работы, – кстати, война с Ираном, а затем американское варварство прервали многое из задуманного Саддамом в Ираке. И даже жилищное строительство в Багдаде.

Шофер, очевидно офицер ГБ, Ахмед, очень спокойный и уравновешенный, всё видит и везде успевает. По всей дороге продают чай, фрукты, шашлыки и т. п. Но, конечно, больше всего потрясают древние, 5-тысячелетние развалины. Так, в Ниневии (ворота Ниневии) откопали гигантских мраморных ассирийских крылатых быков – как такие глыбы в те времена двигали и обрабатывали, один Бог знает. И притом обрабатывали очень тщательно и детально – даже когти отчетливо выделены. И невольно задумаешься: какая тьма человеческих поколений прокатилась по этой легендарной земле, какое сонмище богов здесь действовало, рождалось и умирало? И всё впитала и растворила в себе земля – даже мрамор от времени крошится в руках, но вокруг, на космических могильниках, продолжают жить, любить и надеяться люди, копаются в пыли куры, бродят овцы и мулы, светит солнце, молятся и плачут...

У ворот храма, где похоронено сорок пророков, являющегося святилищем для всех мусульман (кстати, именно здесь похоронен один из сыновей Аллаха, ребенок, который должен воскреснуть и прийти на землю в день страшного суда), кричала женщина в черном, стучаясь головой в стену и что-то требуя от Бога. На земле, как видно, ничего не изменилось с тех самых древнейших времен, когда рождались легенды и боги; всё стало лишь разнузданнее и циничнее. Возвращались в Багдад ночью, и шофер поймал голос из Москвы, где правительство Ельцина в лице госпожи министра Панфиловой устраивало позорную новогоднюю благотворительную кормежку для нищих стариков и крикливо оповещало об этом весь мир. Какая восхитительная щедрость в стране, где несколько лет назад невозможно было встретить ни одного нищего! Меня даже пробрал какой-то сердечный озноб, я попросил шофера выключить Москву, чтобы еще хотя бы сутки не слышать тошнотворной лжи...

Сегодня, очень поздно, еще ожидается встреча с министром культуры Ирака, сыном президента, – и затем отъезд в Амман. Так что записать еще что-либо вряд ли удастся.

Город Мозель, куда мы ездили, стоит где-то в предгорьях Кавказа; здесь встречали курдов в их национальных одеждах, похожих на казацкие жупаны или черкески, так же красиво и затейливо отделанные.

Прощай, Ирак!

### **03.01.94. Тверь**

Вот и перескочили в Новый, 94 год, позабыт и Ирак, и Багдад, и Амман с его белыми выжженными холмами, по которым все дальше от центра расползаются роскошные, трех-, четырехэтажные дома богачей, загородные виллы. У Журавлева, все-таки купившего в гостинице старинную саблю с эфесом и ножнами из серебра и вкраплениями золота (говорит, купил за 550 долларов), было много забот ее провезти через таможню, но все сошло благополучно.

Амманский аэропорт огромный, хорошо ухоженный, осмотр на таможне чисто формальный, но ночь перед этим, проведенная в дороге, в каком-то полуразбитом джипе, запомнится надолго.

Было очень холодно, я выпил водки и, улегшись на сиденье, натянул на ноги коврик, которым сиденье было прикрыто. Никак не мог заснуть – полудремота, полузабытье чередовались в бесконечной дороге (около 18 часов); затем пустыня стала светлеть. Ровно в 6 утра водитель-араб остановил свою колыхагу, отошел в сторону, помылся и совершил молитву.

Затем – опять дорога; в иракское посольство нас не пустили, и Журавлев взял такси за семь динаров, – мы уехали на аэродром, и как раз вовремя – уже всюю шла регистрация на наш рейс.

И вот я опять в Твери – Новый год встречали вдвоем с Лилей, было тихо и покойно, – а сегодня, третьего января, Серафиме сорок дней – по православному обычаю именно в этот день

душа окончательно расстается с миром.

Женщины хлопочут, стол накрыт. С кем прощаются люди в сороковой день после смерти?

### **06.01.94 г. Тверь**

На березе за окном две галки и россыпь воробьев. Кот Тихон сидит на подоконнике и щелкает на них зубами, издает какие-то особые урчащие звуки.

Завтра Рождество.

### **01.03.94 г.**

Незаметно проскочило три месяца, изредка наезжал в Москву, но в основном жили с Лилей в Твери, все пытался врубиться в «Гонца». Какой-то странный и незадавшийся роман, ни два ни полтора. Но бросать не хочется, нельзя бросать – впереди подлинная старость, обратный путь в бессилие и исчезновение. Не хотелось бы превращаться так скоро в бессмысленное животное, хотя у любого животного тоже – от века предназначенный ему – свой путь и конец.

В Твери тоже свои, заторможенные, ритм, уклад, психология жизни; мужское население несет на себе печать вырождения, десятилетия беспробудного пьянства не прошли даром; пьют и сейчас – огромное множество идиотических, бессмысленных лиц, еще большее количество спиртных напитков, как своих, так и чужеземных. Тверь, впрочем, как и остальные русские города, эти добром переполнена, от иностранных этикеток рябит в глазах; «российские доброжелатели» за всеми рубежами спешат, стараются добить поскорее и окончательно русскую душу... Вырвались наконец-то с помощью горбачевых и ельциных на простор!

В начале марта появились синицы, шныряют по балконам; горожане вокруг, чувствуя весну, спешат, каждый день вытаскивают на снежок ковры и половики, выбивают их от пыли и грязи – хлопанье стоит круглый день. По субботам и воскресеньям особенно стараются мужчины – они работают размеренно и с отдыхом, с перекурами и видимым удовольствием.

Цены в магазинах продолжают расти, прямо-таки рвутся вверх – хлеб достиг московского уровня – 300 рублей за буханку. Но в магазинах полно, покупают с азартом, расплачиваются десятками тысяч, сметают все в сумки и тележки на колесах и оживленно уходят. Вот когда становится ясно, что самая выгодная отрасль хозяйства, самая прибыльная – сельское, крестьянское дело, дающее продукт, необходимый человеку несколько раз на дню. Жизнь человеческая связана с хлебом неразрывно. Только через хлеб может человечество шагнуть к великому – к Данте и Пушкину, к Шекспиру и Праксителю, к Рафаэлю и Микеланджело, Достоевскому и Гоголю, только через хлеб к Бетховену и Чайковскому и только через хлеб – к Гагарину и Космосу!

Несколько раз ходили с Лилей к Волге, переходили по льду на другой берег; река, вбирающая в месторасположении Твери еще три речки: Тьмаку, Тверцу и Лазурь, уже готовилась к ледоходу и освобождению: лед осел метра на три у самых берегов и у опор мостов, потрескался, изломался.

Госдума, детище Ельцина, объявила амнистию, к которой сразу же возникает двойное чувство. Во-первых, Россия действительно нуждается во всеобщем примирении; должно на основе глобальных государственных интересов выработать какое-то приблизительное равновесие противостоящих друг другу сил; а во-вторых, жалко невинных людей, брошенных за решетку, и они, конечно же, должны быть на свободе. В-третьих же, этой амнистией, как думается Ельцину, закрывается тяжкая трагедия 3-4 октября 1993 года. Слепое заблуждение; как она может закрыться, когда были зверски убиты и искалечены сотни ни в чем не повинных людей, когда на улицы и площади Красной Пресни выплеснулся демфашизм и власти, как российские, так и московские, явили миру подлинное свое лицо? И Ельцина здесь нечего попусту ругать и обвинять – что толку? Ельцин делал и делает свое дело, и делает добротню и

обстоятельно, он убежден в своей правоте, как всякий наемник. С ним всякому русскому человеку просто нужно бороться, как с врагом России, вот и весь секрет обустройства России. Другого пути просто нет, не дано.

Прочитал статью, вернее, ответы на вопросы Бориса Олейника в «Правде» (23.03.94). Вполне с ним согласен в смысле ядерного оружия – Украина должна его иметь. Это крупная европейская страна. Но то, что Олейник говорит о необходимости суверенитета для Украины, есть его глубочайшее заблуждение. Без России и Сибири Украина обречена на нищету и несправедливость, а это пространство – базис славянства, другой земли для него нет и не будет. От русской культуры и русского менталитета Украина никогда не освободится, потому что это означало бы освобождение от самих себя или еще проще – самоуничтожение.

### **30.04.94 г.**

Сегодня был на панихиде по невинно убиенным в октябре 93-го. Собирались у метро 1905 г., у памятника. Встретил Валентина Солоухина из Орла, постояли, поговорили. Кто сможет объединить русское возрождение, кто сможет его возглавить? Баркашовцы? Черная сотня с их конкретными, целенаправленными национальными лозунгами и призывами... И жутковато от грядущей крови. Может быть, наконец, русский народ, пусть трагически запоздало, начнет просыпаться, лишь бы только он и в самом деле очнулся от своего страшного и странного летаргического сна.

Кто-то говорил мне, что баркашовцы – надежда большая, чем зюгановцы, а тем более – жириновцы; у баркашовцев угадано, мол, главное – национальное возрождение русского народа.

Оборудованная под колокольную легковая машина медленно движется с колокольным, панихидным звоном вниз по Красной Пресне, за ней – хоругви, иконы. Затем несли, по семь человек в ряд, траурные портреты убиенных, много-много рядов – зрелище незабываемое и просветленно-великое.

Словно воскресли и судили сами мертвые, убитые, и большинство из них в семнадцать, девятнадцать, тридцать лет. Девичьи, юношеские, мужские, полные жажды жизни лица... За что?

Прошел мимо Проханов с тремя гвоздиками, затем меня окликнул Игорь Ляпин, и мы до самого стадиона, на котором расстреливали молодежь, будущее России, шли вместе.

Свечи, цветы, молитвы...

Господи, защити и спаси Россию, покарай ее врагов и губителей, ибо не вечно же добро и милосердие воздавать злом и ненавистью? Аминь.

### **15.11.99 г.**

Прошло пять лет, промелькнули, словно сон. У Кати за это время появилось двое сыновей – Святослав и Денис. Еще двое внуков, оба светлоглазые, белоголовые, растут себе, чтобы, в свою очередь, попытаться познать мир и продолжить упорную работу жизни. И в то же время 2 миллиона беспризорных детей уже никого не удивляют и, что особенно страшно, не трогают, не пугают. Россия смирилась со своей участью и медленно, как смертельно больное, обреченное животное, угасает. Где баркашовцы, где зюгановцы, где «черная сотня»? Только сын юриста продолжает разыгрывать шута горохового, и русский народ, изголодавшийся и тоскующий по жалким крохам надежды продолжает тупо и обреченно избирать во власть своих же губителей.

Сегодня стало известно, что на президентских выборах на Украине победу вновь одержал Кучма – еще один грозный знак славянского вырождения. Процесс саморазрушения зашел слишком далеко. Надо полагать, что и в самой России негативные процессы теперь необычайно ускорятся и усилятся, и теперь уже окончательно ничего не видно впереди. Тьма, исчезновение и вызревание в этой тьме некоего нового национального русского «я», задавленного, искалеченного, совершенно с иными качествами, родовыми признаками, начало совершенно

нового этноса, но ему вряд ли дадут мало-мальски окрепнуть и сформироваться; на земле становится слишком тесно.

**20.11.98 г. Тверь**

## **I. ВЕТКА ДЕРЕВА. ЛЮБОВЬ. НЕНАВИСТЬ**

За окном ветер и редкий снег, привычные голые деревья – березы да ветлы, старые неказистые дома, облезлые гаражи; дети играют, катаются на салазках, женщины по первоснежью снова самозабвенно выбивают половики и коврики, ожесточенно и азартно колотят палками и специально приспособленными для этого металлическими, сплетенными из проволоки лопаточками. Каждое утро здесь я просыпаюсь под задорное и деловитое хлопанье, о чем-то напоминающее мне из далекого прошлого, но я никак не могу вспомнить, что именно. Да это и неважно, ведь назад можно вернуться только памятью, но и память иногда устает и отказывает; одним лишь прошлым жить нельзя, хотя именно прошлое уравнивает в человеке две крайности, составляющие саму суть человека, – его сиюминутность, его страх ухода и его слепое и вечное стремление к бессмертию. И все остальное для человека происходит именно в данном силовом поле, хотя об этом мало кто думает и даже подозревает, но, когда твердь прошлого начинает почему-либо смещаться и слабеть под ногами и в новой приливной волне безумия в жажде бессмертия закон равновесия ломается, начинаются катастрофы; в них втягиваются не только отдельные, особо подверженные страху смерти личности, но и целые континенты и народы.

Для России таким периодом стал двадцатый век, и в причинах данного явления еще долго будут разбираться; правда, только с приходом равновесия и в сознание человека, и в его дела, когда человек не испугается приблизиться к истине о самом себе и воспримет необходимость самоуглубления как насущную потребность жизни и творящего космоса, примет как закон всего сущего. Именно тогда и придет гармония и никто не сможет, вроде маниакальных личностей типа Троцкого или Горбачева с Ельциным, разорвать цепь времен и, выполняя заложенные в них определенными силами функции, погрузить неисчерпаемые творческие силы народа в кромешный мрак неверия и распада.

*Милая, горькая,  
нет во мне ласки и нежности, –  
Русские доли и холмы охвачены пламенем.  
Но устоял,  
в роковой растворяясь безбрежности,  
Старый солдат под обугленным знаменем.*

*Бродят забытые души в руинах империи,  
Призраки дедов застыли на обломках России –  
Идут, осуждая беспечных потомков неверие,  
Ждут животворного судного гласа мессии.*

*Уходя, никому не пошлем мы проклятия,  
Прикоснемся лишь сердцем  
к извечному полю сражения, –  
Слышишь,  
огненный глас возвещает пророка зачатие?  
Горькая, милая,*

*ведь любовь – это боль воскрешения.*

В прошлое стремятся по разным причинам, от светлой тоски по молодости, какой бы она ни была, от страха заснуть и не проснуться, от несбывшихся честолюбивых стремлений, а больше потому, что в тверди прошлого ничего нельзя изменить ни в лучшую, ни в худшую сторону, – оно, прошлое, уже было, оно не только философский постулат благополучия, оно еще и волшебное измерение, и в нем всё всегда было лучше. И хлеб вкуснее, и любовь крепче, и мир вокруг приветливее. Хотя все это несколько расплывчато, словно сквозь кисею, одинаково ровно, с утратой живых ощущений, – работает, как правило, память, не сердце, ведь оно давно отработало и у него нет возможности раздваиваться на прошлое и настоящее – слишком неисчерпаема и сама жизнь, и идущие с тобою рядом и каким-то образом пересекающиеся с тобой судьбой, переплетающиеся и борьбой, и любовью, и ненавистью, – этого человек даже эмоциональной памятью, памятью сердца, не забывает никогда, не забывает иногда даже после смерти.

Это случилось поздней осенью 1957 года, когда я, отработав на Камчатке положенный по трудовому договору срок, оказался в Хабаровске – просто сошел с товарищем, тоже возвращавшимся после окончания срока договора домой, с поезда, чтобы дня два-три погулять, опомниться после непрерывного трехлетнего камчатского марафона без отпуска, отойти немного от беспросветной работы на лесоповале и на сплаве. Кроме фибрового чемодана с двумя парами заношенного белья, телогрейки, рукописи незаконченного романа, нескольких начатых рассказов и груды никому не нужных стихов, написанных по ночам, у меня ничего не было; правда, были еще аккредитивов на двадцать с лишним тысяч. Для крестьянского парня, вырвавшегося после армии из колхозной супернищеты, – поистине громадные деньги. Мой хабаровский товарищ рассчитывал женить меня на своей сестре, девушке уже в возрасте, простой и незаметной, но у меня были другие планы. Меня по-прежнему сжигали бесы соблазна и честолюбия, мне не давали покоя множество замыслов и маниловских фантазий, передо мной толпилось множество образов, лиц, грезилась и рассыпались всяческие события. Теперь не нужно было каждое утро в шесть уже быть на работе или возле конторы на разнарядке у мастера по участку Нанако, который, оправдывая свою завиралистую фамилию, ухитрялся жить сразу с двумя родными сестрами, иногда начинавшими ожесточенно драться, рвать друг другу волосы... Страсть к созиданию своего особого мира, жгучее желание упорядочить свои навязчивые, беспокойные сны и тем избавиться от них лишь усиливались, и с этим ничего нельзя было поделать...

Погуляв дня два у хабаровского товарища, то и дело встречаясь со ждущим, тихим взглядом его сестренки, тотчас отводившей глаза в сторону, я на третий день переключался под каким-то убогим предлогом в Дом колхозника, стоявший тогда на грязной речонке Плюснинке, и там, в тесном одиночном номере с узкой железной кроватью и с тумбочкой у ее изголовья, почти не выходя, я недели две зверски терзал бумагу. Я, словно наверстывая ранее упущенное, бросался от романа к рассказам, к какой-то драме из военной жизни, начинал и бросал повести о Камчатке, и когда очнулся, к Хабаровску подступала зима. Заведующая Дома колхозника попросила меня подыскать другое жилье, оказывается, больше месяца там нельзя было находиться одному человеку. И хотя меня никак нельзя было причислить к тунеядцам (мне полагался законный отпуск на четыре месяца после непрерывной трехлетней работы на Севере), но закон есть закон. Мне повезло, и почти тут же, рядом с Домом колхозника на Плюснинке, нашлась у одной из местных старушек комнатенка с отдельным входом; потолок, правда, был низок для меня, и, двигаясь, приходилось нагибать голову, но все-таки это была отдельная комната, подобного я никогда не имел в жизни, и плату за нее хозяйка положила мизерную, что-то около тридцати рублей. И главное, работа не прерывалась, оставалось написать несколько

заклучительных глав в роман «Глубокие раны»; я засиживался до четырех-пяти часов утра. Потом спать уже не мог, и с первыми проблесками дня я отправлялся бродить по сонному, пустынному еще городу, выходил к Амуру, к речному вокзалу, где жизнь начиналась спозаранку.

Город был завален кетой – на днях кончилась осенняя путина, и на углах центральных улиц серебрились груды рыбы на деревянных платформах в виде просторных помостов-ящиков, сбитых из неструганных досок; в магазинах стояли объемистые многоведерные бочки с красной икрой, часто уже затвердевшей; ее отламывали глыбами, килограмма по два-три, небрежно заворачивали в оберточную бумагу, – всё было до невероятности дешево. Банки с великолепными камчатскими крабами громоздились на полках магазинов даже в самых дальних леспромхозах, но их редко кто брал, а уж потом, когда распробовали, было поздно – их начали отправлять в США, Канаду, Японию, у наших закордонных «доброжелателей» губа всегда была не дура, и не только на одно русское золото.

Впрочем, меня все это мало интересовало – продолжалось лихорадочное стремление освободиться от груза накопившихся впечатлений, в том числе и от камчатского периода жизни, необычайно яркого и эмоционального, несмотря на непрерывную, тяжелую работу, но к ней мне было не привыкать. Я написал, вернее, закончил несколько рассказов, начатых еще на пароходе «Русь»; на нем отработавших свой срок на Камчатке по договору и отправили во Владивосток. На пароходе «Русь» я начал новый роман о камчатской жизни «Корни обнажаются в бурю»; потом кто-то на обсуждении в Москве перефразировал это название в «Парни обнажаются в бурю». Одновременно продолжал дописывать «Глубокие раны» – роман об оккупации и партизанах минувшей войны. Я уже упоминал, что, поднимаясь от своего жилья к центральной улице Хабаровска, конечно же, именованной улицей Карла Маркса, чтобы где-нибудь пообедать или поужинать в столовой, а то и в буфете ресторана «Дальний Восток» – здесь всегда были сметана, творог, жареная кета и печенка, я проходил по Комсомольской, мимо старинного деревянного купеческого особняка в два этажа. В нем и располагались Хабаровское отделение Союза писателей России и редакция журнала «Дальний Восток». Это важное открытие произошло случайно, еще во времена моего жития в Доме колхозника на Плюснинке, и, скорее всего, именно этот факт и заставил меня задержаться в Хабаровске. Возвращаться в прошлое придется еще не раз – многое ведь не сказано в первой книге моего романа «Порог любви»; пожалуй, самое главное осталось за порогом, растворилось в нетях, в потоке уплывающего времени. До литературных знакомств в редакции «Дальнего Востока» и до публикации первого рассказа в «Тихоокеанской звезде», то есть до вхождения в литературную среду Хабаровска, отстоявшую от столиц на добрые восемь тысяч километров и потому обособленную и специфическую, было еще далеко. Я со своим опытом жизни был представлен только самому себе и той непрерывной, уже многолетней борьбе со словом; с завидным упорством я старался преобразовать слово в краски, звуки, запахи, в живую жизнь, в теплокровные волнующие образы, в человеческие страсти, перехлестывающие часто все установления природы, все законы космоса. Тайна слова, стихия языка всё чаще превращались для меня в нечеловеческую пытку, я задыхался, тонул в этом океане, выныривал вновь глотнуть воздуха, чтобы не задохнуться окончательно. Ведь язык, стихия слова и являлись самой субстанцией человека, его зачатием и рождением, его особенностями и характером, его определенным местом в жизни и его борьбой, наконец, его уходом и его завещанием, его следом на земле. В таком единоборстве и оттачивается, совершенствуется стиль и, если можно так выразиться, мастерство, умение отсекал лишние груды материала, всегда налипавшие на любой, даже самый строгий и гармоничный замысел при его освоении. Но даже и в такой борьбе в одиночестве скудеет и сохнет душа, и мое вхождение в литературную среду Хабаровска после полутора десятка лет



бесплодной, как я уже начинал считать, борьбы за свое право сказать людям сугубо свое, донести до них свое особое видение человека и жизни, как бы разомкнуло, даже разорвало круг одиночества, явилось живительным, ободряющим глотком некоего эликсира бодрости и безумно вспыхнувшей надежды; вроде бы ни с того, ни с сего я оказался в центре внимания довольно специфического и капризного слоя людей, считавших себя высокими интеллектуалами. Они пристально присматривались ко мне, а я к ним; наступила пора какого-то безвременья, душевной смуты. Деньги, заработанные на Камчатке, кончались, и, хотя роман «Глубокие раны» к середине лета 1958 года был завершен и анонс о нем был помещен в журнале «Дальний Восток», жить, несмотря на строжайшую экономию, становилось совершенно нечем, тем более нечем платить за комнату. Ответственный секретарь Хабаровской писательской организации Виктор Николаевич Александровский посоветовал поскорее устраиваться куда-нибудь на работу на производстве и предлагал свое содействие – тогда было в моде растить молодые таланты непосредственно на производстве, но мне уже сравнялось тридцать, и добрую половину из этого срока я провел в непрерывной, нескончаемой, тяжелой, если не сказать больше, работе. В колхозе с 1944 года, на торфоразработках и лесоповале, в армии в стройбате, на Камчатке, опять-таки в леспромхозе и на сплаве, где никакого нормированного дня не было и в помине. И я долго противился уговорам добрейшего и доброжелательнейшего Александровского пойти на стройку, что не составляло труда, но затем, в какой-то один из беспросветных моментов, когда уже и хлеба не на что было купить, я решился, сходил в контору по найму рабочей силы и подписал трудовое соглашение на работу в одном из хабаровских леспромхозов, получил тридцатку подъемных, и через два дня нас, человек десять мужиков, отвезли на грузовике километров за двести от Хабаровска в тайгу, в какой-то поселок. Но едва машина остановилась на площади, и я взглянул на унылые бараки, на магазин, на клуб, точь-в-точь похожие на камчатские, в нашем поселке Тринадцатого квартала, на меня нахлынула непреодолимая тоска, какое-то слепое отчаяние; одним махом я забросил свой мешок назад в кузов уже тронувшегося в обратный путь грузовика, к изумлению остальных, перескочил через борт и помахал недавним своим товарищам рукой.

– Вернусь на той неделе! – крикнул я им, свалился на дно кузова и почему-то до слез, до удушья захохотал, перекатываясь с боку на бок. Вернуться назад, в прошлое, я уже не мог, нужно было искать другие пути, другое решение. Да к тому же, хоть и накоротке, я уже соприкоснулся совершенно с иной жизнью и уже был отравлен ею.

За моей спиной была сложнейшая, неблагополучная, убийственная для тех времен биография – мое прошлое, судьба отца, в которой, как в капле воды, по-своему уродливо отразился путь России после семнадцатого года и хаос двадцатого века.

По ряду понятных причин я не любил вспоминать и думать об отце, ведь и видел я его в последний раз в марте (где-то в двадцатых числах) 1943 года, когда немцы отступали и должны были вот-вот оставить Севск и когда передо мной все больше вырисовывалась изнанка жизни взрослых, ее подспудная, темная сторона.

В солнечные дни уже вовсю звенела с крыш мартовская капель, на карнизах висели гроздья солнечных сосулек, но еще было много снегу, городок наш Севск утопал в оседавших сугробах, в садах, от тяжести налипшего на них снега, раздирало деревья. Отец подъехал к дому рано утром в санях; последнее время он почти не ночевал, не жил дома, и не только из-за тревожной обстановки. Я уже давно знал, что у него были другие женщины, и одна, и вторая, с моей матерью у него уже давно установились тяжелые отношения, и началось это задолго до войны. Родные матери еще тогда предлагали ей всё бросить и уехать в Косицы, в колхоз, но трое детей, трое сыновей, город, школа, в которую ходили двое старших, останавливали, что уж говорить о годах оккупации и разрухи? Когда все вокруг дышит враждой и смертью, неизвестностью и

страхом? Да и вообще; крестьянин велик и бессмертен тем своим свойством, что он сам является природой, одним из ее бесконечных и на первый взгляд бессмысленных циклов творчества, и русский крестьянин особенно. Стихия обновления и бессмертия народной жизни, создавшая величайшую в мире российскую империю, особую евразийскую цивилизацию, духовность и культуру, в конце концов и столкнулась с сокрушительным ударом. И самый сокрушительный удар был направлен именно на русское крестьянство, основу и твердь империи, природный источник как физического, так и нравственного здоровья, отличавшегося к тому же завидным консерватизмом. Для ослабления России необходимо было разрушить, сокрушить именно крестьянство, заложить в его гены семя раздора, приостановить природный строй его движения и развития, судьба моего отца – одно из подтверждений тому, один из примеров.

Известно, отцов и матерей не выбирают, сие таинство творит сама природа. Да, «ветер жизни мог и не той страницей шевельнуть»...

Судя по удивительной приспособляемости моего отца к реалиям времени и изломам жестокого и беспощадного к России века, корень у него был весьма жизнестойким. От первого председателя организованного им же самим колхоза имени Ильича в поселке Косицы (ему было тогда двадцать четыре), где в тот год появился на белый свет и я, он прошел долгий, извилистый, по-своему трагический путь изгоя; со своими двумя классами церковно-приходской школы, он все время стремился выбиться в люди, наверх, и во многом на своем уровне преуспел. Раскулачив двух или трех своих соседей по спущенной сверху разнарядке, притом одного из тех, за дочь которого раньше сватался и получил от ворот поворот как бесштанная голытьба (а все раскулаченные каким-то образом через год вернулись с Соловков, кажется, как необоснованно высланные), и таким образом нажив беспощадных и вечных врагов, отец скоро разочаровался в колхозном строительстве и, еще будучи в чине председателя колхоза, постарался окончить какие-то скоропалительные курсы в Севске. И уже в тридцать втором, кажется, году вся наша семья (родился мой второй брат – Володя) оказалась в Крыму; отца направили туда управляющим одного из хозяйств. Из этого периода своей жизни я помню только бесконечные абрикосовые, персиковые сады, усыпанные крупными, краснобокими плодами, и еще помню переезд в этот Крым, вернее, ночевку в поле кукурузы, костер и огромные, растрескавшиеся на огне початки кукурузы; ехали мы на дребезжащем, нещадно чадившем грузовичке. Удивительны, причудливы иногда проблески из раннего детства, их трудно понять и объяснить, но сейчас разговор о другом. После Крыма отца переводят на Кавказ, в Назрань, где он работает уже главным бухгалтером мукомольного комбината; отец уже попадает в категорию знаменитой советской номенклатуры, когда человек, даже если он порой и не справляется с делом, все равно поднимается по должностным ступенькам всё выше и выше, если он не совершал каких-то основоразрушающих проступков; просто ниже руководителя такой человек уже не мог опуститься, что во многом через несколько десятилетий и привело к разрушению величайшей в мире партии.

В памяти от кавказского периода остались горы зерна, подсолнечника, кукурузы, пшеницы, переполненные склады, и еще отец, с лихими, закрученными вверх, по-буденовски усами, в длинной солдатской шинели, в фуражке и частые вечеринки с такими же усатыми ингушами с песнями и вином; ингуши подбрасывали меня и брата к потолку, ловили, смеялись и дарили кинжалы и деньги – не помню, точно ли были тогда красные тридцатирублевки, но что-то вроде этого помнится.

Наполеоновское восхождение отца было прервано внезапной ревизией и арестом; мы остались одни среди чужого народа; мать по ночам плакала; вмиг исчезли и деньги, и жизнерадостные усатые знакомые. Месяца через два приехал младший брат матери, дядя Федя, огромный, русоволосый, сероглазый красавец, статный, широкоплечий, окончивший к тому

времени курсы трактористов; после недолгих сборов он увез нас домой, в Косицы, и мы вновь оказались в своей избе-пятистенке, стоявшей без нас заколоченной и бдительно охраняемой бабушкой Пелагеей – матерью отца.

Близились осень, из избы постепенно выветривался нежилой дух. В один из вечеров собрались родные, натащили сала, яиц, хлеба, помидор, яблок, картошки, одним словом, всего, чем богат крестьянин к осени. Бабушка Пелагея напекла пирогов, дядя Гриша принес четверть самогонки, подкрашенной вишней, усадил меня к себе на колени, долго и молча, со всей крестьянской обстоятельностью, слушал рассказ матери, затем чокнулся с дядей Федей, вытянул стакан самогонки, вытер рыжие усы, крикнул:

– Ничего, племяш, проживем... чего не бывает... вишь, всех хотел перехитрить... вишь, всех хотел перехитрожить, сидел бы на своем нашесте да кукарекал себе в свое удовольствие, а то вон, орлом клекотать захотел...

– Гришка! – строго оборвала его бабушка Пелагея; он, махнув рукой и ткнувшись в мой затылок мокрыми усами, опрокинул в себя еще стакан.

Я мало что помню из той поры, но, к глухому разочарованию отцовских недругов, которых у него значительно прибавилось после председательства, месяца через два, уже поздно осенью, когда все мы уже легли спать, он постучался в окно и вскоре уже был в избе, все в той же неизменной шинели и фуражке, а растерявшаяся мать, накинув на ночную сорочку шаль, накрывала на стол. Оказывается, что-то такое там на Кавказе в Назрани выяснилось, нашлись несколько пропавших вагонов зерна пшеницы, и его освободили, и уже через месяц отец стал работать главным бухгалтером Севского гортопа и, вновь заколотив избу, перевез семью на житье в райцентр, в Севск, где ему был предоставлен для жилья один из домов богатого колбасника Носова, после революции благоразумно исчезнувшего.

Пришло время других людей и других ценностей; Лука Захарович Проскурин был человеком весьма и весьма непростым, очевидно, именно революция и пробудила в нем чрезмерное чувство честолюбия, он бросил крестьянствовать и начал все свои невзгоды и неудачи приписывать козням врагов и своих завистников; в душе он всегда был игроком и уж обязательно и пламенно анархистом, и все перемены в жизни, начиная с революции, интересовали его прежде всего тем, как их можно было приспособить к своим интересам. И вот здесь, в Севске, года за два до начала войны и случилось несчастье, перекосившее всю жизнь не только его самого, но и его семьи и всех связанных с ним людей. У него случилось заражение правой руки, чуть ли не гангрена, был отнят указательный палец, и рука стала сохнуть – таких в народе зовут сухоруками. Ему выдали белый билет, призыву в армию он не подлежал, и когда Севск заняли немцы, он тотчас очутился в концлагере – он был черноволос и черноглаз и его приняли за цыгана. Его же начальник, заведующий Севским гортопом Ковалев, как партийный, тоже оказался в концлагере под Глуховым на Украине (километров семьдесят от Севска). Он был вдов, жил со старушкой-матерью и двумя сыновьями. Отец вышел из концлагеря уже сломленный, согласился сотрудничать с немцами и стал работать агентом по гарнцевому сбору, числились, вероятно, за ним и другие дела. Старуха Ковалева носила под Глухов передачи сыну – собирала их в основном моя мать, сушила сухари, доставала кусок сала, яиц, табаку; готовила она ему еще и одежку, вплоть до чистого белья и ею связанных шерстяных носков. Она и до войны опекала детишек вдового начальства, а теперь это как бы вошло в ее обязанность; когда старуха Ковалева уходила, мать ухитрялась сунуть ей что-нибудь и для сирот, не забывала напомнить, чтобы младший Борька приходил к вечеру за молоком. Дело было в том, что перед самой войной мы обзавелись коровой, родился третий братишка, нареченный Валентином, и жить на один отцовский заработок становилось тяжеловато, и все радовались корове – она оказалась какой-то особой породы, давала больше двадцати литров молока, и мать вплоть до марта сорок третьего

подкармливала семью Ковалева, и кто бы мог подумать или предположить, что это, по сути, обычное в тяжелых обстоятельствах свойство помочь ближнему обернется затем одним из самых неожиданных моментов в жизни всей нашей семьи и надолго придаст какую-то странную, мрачно-мглистую окраску и моей судьбе.

Ковалев пробыл в концлагере вплоть до весны 1943 года, – у немцев были и такие концлагеря, где заключенного представляли в основном заботам родственников и местного населения; люди приспосабливались к любым обстоятельствам, выживали и в таких условиях; в начинавшую отстаиваться после революции жизнь возвращалось многое из того старого, уже вроде бы и забытого. В Севске, как только слегка отодвинулся после прихода немцев фронт, стали открываться, полезли как из-под земли всяческие удивительные торговые точки под частными вывесками, трактиры, сапожные. И отец, чтобы не отстать от других, тут же взял разрешение на открытие столовой и парикмахерской; в столовую он назначил заведующей и одновременно главным поваром свою очередную любовницу, а в парикмахерскую собрал неизвестно откуда нескольких мастеров, в том числе красивого молодого еврея Дика (фамилии не помню), а меня, чтобы не бездельничал, загнал в эту парикмахерскую учеником, кассиром и мальчиком для обслуживания мастеров; я должен был греть и подавать горячую воду, подметать и одновременно обслуживать клиентов в гардеробе. В ответ на мое недовольство я слышал одно и то же:

– Хватит, книжки читать и дурак сумеет, надо уметь и хлеб зарабатывать.

Одним словом, всё, что случилось через несколько десятилетий, в эпоху Горбачева и Ельцина, в России уже было опробовано в немецкую оккупацию 1941–43 годах, – человек с тех пор не претерпел значительных улучшений в своей породе. Разумеется, вдумываясь в свое прошлое, в детство и юность, в черные годы душного мрака, безнадежности и отчаяния, приходится еще раз повторить, что мою душу спасли книги. Я и до войны читал запоем, а теперь, натаскав тайком из-под обрыва у средней школы № 1 множество книг, выброшенных немцами из школьной библиотеки (само здание школы было сразу же превращено в один из тыловых немецких госпиталей), я и вовсе ушел в прекрасный, созданный человеческим гением мир страстей, мир добра и зла, любви и ненависти, мир гармоничный и стройный даже во зле, – пожалуй, именно эти годы и явились моими университетами, потому что учиться дальше мне так и не пришлось. Правда, городские власти попытались в 1942–43 учебном году открыть в Севске гимназию, с французским, латинским и немецким языками, и я несколько месяцев посидел еще за партой вместе чуть ли не со всем своим прежним классом, но все это скорее было фарсом, жертвенной попыткой местной уездной интеллигенции, уцелевшей еще от дореволюционных времен, организовать русскую народную жизнь. Севск всегда, и до революции, и после, был одним из центров просвещения довольно крупного региона; в довоенные годы здесь было несколько техникумов – педагогический, медицинский, финансовый, но, пожалуй, в тяжкие годы оккупации главным и определяющим все мое будущее стала наша семейная трагедия: отец, его нравственное и духовное перерождение. Осуждение соседей и школьных товарищей, одноклассников; душная атмосфера и в самой семье, постоянные ссоры и драки между отцом и матерью, он ее сильно поколачивал, давили своей безысходностью. Недаром народные приметы и пословицы отмечали, что, если коготок увяз, всей птичке пропасть, как и то, что от тюрьмы да от сумы не следует зарекаться.

У меня и раньше из-за матери, постоянной обиды за нее были отчужденные, довольно сдержанные с отцом отношения; он был не только неутомимым, как говорится, ходяком по бабам, но, как я уже говорил, сильно поколачивал мать, если она начинала особенно активно отстаивать свои женские права; но теперь, после прихода немцев, он взбесился, закусил удила, его вообще нельзя было узнать. В нем пробудилась алчность на владение собственностью,

расширяя её, он вдобавок к парикмахерской и столовой подыскал место для строительства водяной мельницы; мотаясь по району, собирая гарнцевый сбор, он не возвращался без четверти-другой самогонки; какое-то время его еще тянуло домой, он любил пить в большой светлой комнате с двумя большими окнами в сад. На столе появлялось сало, огурцы, квашеная капуста, неизменная яичница. Я в такие моменты уходил из дома в сарай к корове – звали ее Милка, и была она большая, добрая. Или, если было очень холодно, скрывался где-нибудь в доме, но отец иногда начинал звать, а то и разыскивать меня, сажал за стол, предлагал самогонки, пытался разговорить, делился своими планами и опасениями и, получая односложные ответы, постепенно мрачнел. Я до сих пор не могу определенно сказать, что с ним происходило; он всегда стремился выбиться наверх, но никогда не был жаден; он, очевидно, просто понимал, что попал в смертельный капкан, из которого уже невозможно было вырваться. Петля затягивалась все туже, и он это чувствовал – где-то и когда-то он переступил дозволенный для себя нравственный порог, и теперь его несло по жизни уже как щепку вопреки ему самому. Судьба выкинула карты именно так, а не иначе, и здесь даже о страхе возмездия говорить не приходилось.

Пожалуй, именно двадцатый век и революция семнадцатого явились теми роковыми жерновами, перемоловшими с помощью масоно-сионистских добавок русское национальное самосознание, внедрившими в русскую стихию яд разложения, оторвали ее от основы основ – земли и тем обессилили ее и лишили воли. И особенно заметно это стало в конце того же двадцатого века – прошедший, вернее, намеренно и искусно проведенный через все круги ада русский народ к исходу века потерял способность к сопротивлению. Произошло как бы окукливание нравственного и духовного начал русского народа; они, эти начала, покрывшись броней, утяжелившись непроницаемой ни для чего враждебной оболочкой, погрузились в оцепенение, чтобы очнуться и явиться в положенный срок. Но когда? Этого никто не может сказать, да это и не имеет значения. Здесь Бог уступил сатане, круг замкнулся, и отравленное жаждой ненасытного человечество пошло по тупиковому пути.

Но вернемся к своему предмету, к отцу в начале сорок третьего. И меня, и братьев выручала мать; под каким-нибудь предлогом она выпроваживала нас прочь, и у них с отцом начинался свой трудный бесконечный разговор, а мы все трое забивались на кухню; любой звук заставлял нас вздрагивать и прислушиваться. Мать не раз предлагала отцу уйти куда глаза глядят, хоть в поле, хоть в лес, а то просто в божий мир без следа и памяти, чтобы бесповоротно не погубить себя, а главное, детей; он, всегда соглашаясь вначале, после очередного стакана крепчайшего первача, круто менял свое решение, грозил повеситься, если она будет приставать, и, окончательно зверея, выхватывал револьвер, стрелял в потолок, целясь в лампу. Мать опрометью выскакивала к нам на кухню, запирала дверь на прочную железную задвижку и начинала нас успокаивать. Отец требовал впустить его и однажды, получив категорический отказ, и впрямь попытался осуществить свою угрозу. Хотя при нем всегда был револьвер, он, предварительно выстрелив несколько раз в потолок, что он делал в сильном подпитии и раньше, решил повеситься под потолком на крюке, на котором держалась десятилинейная лампа. Торжественно возвестив о своем намерении из-за двери и не получив ответа (до сих пор помню какие-то мертвые, остановившиеся глаза матери, её отяжелевшую руку, отрешенно клавшую на себя крест), стал, видимо, осуществлять задуманное. Что-то загремело и затихло.

– Мам, это что? – со страхом спросил Володя.

– Да ну, – сказала мать устало и вновь перекрестилась. – Давай, Петь, глянь, чего он там...

Лязгнув щеколдой, я приоткрыл дверь, взглянул, – видимо, минутой раньше отец и в самом деле соорудил петлю из какой-то штуковины, привязал конец к крюку под потолком, отодвинул стол в сторону, взобрался на него и, не выпуская из рук револьвера, просунул голову в петлю и

рухнул вниз. Крюк, не рассчитанный на такую тяжесть, вырвался из потолка, и отец лежал рядом с разбитой десятилинейной лампой на полу и уже успел, очевидно, мертвецки заснуть. Правда, мне показалось, что один глаз у него слегка приоткрылся и даже вроде бы подмигнул; я быстро снова захлопнул дверь на задвижку.

Не знаю, имеют ли право сыновья судить отцов, ворошить и пытаться по-своему осмыслить прошлое, отношения родителей между собой, как правило, всегда непростые, а часто и уродливые – отдельные человеческие судьбы вплетаются в полотно жизни по-разному, образуя неразрушаемые клубки; ничего уже невозможно изменить, никакой топор их не возьмет. Но отец выпавший на его долю путь выбрал сам, мы же, его сыновья, подпали под топор не по своей воле. Быть униженным по своей вине – это одно, но терпеть унижение не по своей вине – совершенно другое. Пожалуй, именно это нравственное страдание, притупившееся весьма и весьма не скоро, отразилось в характерах и философии ряда моих героев, и особенно ярко в Захаре Дерюгине из трилогии «Судьба», в его праве судить и себя, и других только по нравственному закону совести, судить вплоть до самого высшего уровня, потому что социальные законы, законы государства всегда несовершенны и всегда защищают не истину, не правого, а необходимость условного порядка и возмездия. Почти все мои герои подчиняются прежде всего высшей гармонии, ниспосланной космосом в душу человека, – его нравственному чувству, праву карать и миловать, карать и смертью, если того требует высшая нравственная справедливость. И не только самих себя, но и других.

Итак, случилось. Где-то в двадцатых числах марта 1943 года рано утром отец подъехал к дому на санях-розвальнях, запряженных крупной серой лошадью. Он был даже не пьян; коротко и сухо он приказал матери все бросить, собрать детей, взять только самое необходимое и тотчас уезжать. Разговоры о том, что немцы отступают и что в город вот-вот войдут партизаны, ходили уже несколько дней; мать ничего не стала слушать.

– Я никуда не поеду, Лукьян, – не опуская, как обычно, и не отводя глаз, сказала она. – Детей не пущу... Умирать надо у себя дома, на своей земле. Тебе все равно теперь, не послушался, когда говорила, а теперь всё одно...

– Молчи! – как-то затравленно и тяжело повысил он голос.

– А чего мне молчать? Хватит, домолчалась...

Тут лицо у отца исказилось, он шагнул к матери, взмахнул рукой, в руке у него каким-то образом оказался револьвер, и ударил рукояткой; мать беззвучно откатнулась и сползла по стене на пол, рассеченная чуть выше виска кожа на голове у нее стала чуть кровить. Кто-то закричал, то ли Володя, то ли младший, Валя. Не обращая на плач внимания, отец обернулся ко мне.

– Ну, а ты? Чего набычился? Давай одевайся! Где сапоги? Ты на баб не гляди, уж тебя обязательно прищучат... Тебя первого!

И здесь какая-то слепая ненависть перехватила мне горло, застлала муть глаза; мне было нестерпимо жалко матери, именно в этот страшный момент между мной и отцом и распались окончательно темные связи крови.

– Уходи, – хотел я крикнуть изо всех сил, но голос сорвался, и он, взглянув мне в лицо, как-то сразу сильно побледнел, стал заталкивать револьвер обратно в карман шинели, не сразу попал, выругался и выбежал.

Уже через несколько десятков лет мне переслали в Москву из Австралии фотографию; на ней в центре стоял отец с довольно миловидной, пухлощечкой женщиной, своей новой женой, и по обе стороны от них располагались два красивых рослых парня, их сыновья, следовательно, мои сводные братья.

Сам Лука Захарович Проскурин умер в Сиднее; по сведениям из Комитета госбезопасности, где-то во второй половине семидесятых.

\*\*\*

Весь двадцатый век Россия, по ряду тех или иных причин, теряла десятки, сотни тысяч, миллионы своих кровных чад, в основном русских, самых деятельных и одаренных от природы кипучей энергией и беспокойным, пытливым, ищущим умом; волны эмиграции из России в двадцатом веке оплодотворили и Европу, и Америку, и Азию, и Австралию. А из-за распада величайшей державы мира, Советского Союза, русский народ в последнем десятилетии двадцатого века стал одним из самых униженных, рассеянных по всему миру и гонимых народов, и всякому русскому человеку следует серьезно и глубоко задуматься над своей судьбой и над судьбой поруганного отечества. Доколе вверять ее своим ненавистникам и гонителям?

Но одно дело – осмысливать прошлое, а другое – быть в своем времени, в самом процессе жизни. И недаром говорится, что если кто выстрелил в прошлое из ружья, то будущее громыхнет в него из пушки; у всех на глазах так и случилось, и с Лениным, и с Хрущевым, и с Горбачевым, надо полагать, и нынешним разрушителям России не избежать своей заслуженной участи. Оставьте мертвого мертвым, предупреждает старая мудрость.

В ту кровавую весну сорок третьего года, вслед за мгновенно проскочившим фронтом, в Севск вступили многочисленные партизанские отряды, и почти сразу же возобновили свою работу советские учреждения; на какое-то время, на сутки или чуть больше, небольшой наш городок оказался во власти давно копившихся стихийных страстей, тяжкой, нечеловеческой ненависти. Посев войны, да еще одной из самых свирепых и безжалостных, дал свои всходы, сплавившись с остатками задавленных инстинктов, оставшихся во многих душах и от революции, и от гражданской войны, и от коллективизации. Да и партизаны тоже были всякие, встречались и просидевшие всю войну где-нибудь в непролазной глухомани, боялись выстрелить, обнаружить себя; но как раз такие, получив возможность выйти из лесов и болот, неистовствовали больше других, да это и естественно: трус всегда становится безжалостным в отношении слабейшего, а тем более беззащитного. Одним словом, по приказу какого-то из командиров партизанских отрядов, вступивших в Севск в мартовскую темную и промозглую ночь, за нами пришел партизан, велел матери собираться, одевать детей, ничего с собою не брать и выходить. В ту пору злобы и ненависти мать редко и мало спала по ночам, – на нас накатывались приступы страха, и она брала младшего, Валю, на руки, забивалась с ним куда-нибудь в угол и, вся сжавшись, ждала, что нас вот-вот придут убивать, этот страх остался с ней после войны на всю жизнь, и она панически боялась ночей и еще задолго до наступления вечера начинала внутренне к нему готовиться.

И в ту зловещую мартовскую ночь, когда за нами пришел партизан с немецким автоматом, у матери даже мысли не возникло не открыть ему двери или не подчиниться; для нее все происходящее являлось закономерным и оправданным – просто завершилось ее долгое, нестерпимое ожидание, и она даже облегченно, возможно, перекрестилась. Кстати, едва открыв дверь и взглянув на партизана, она сразу почуяла, как она потом говорила, что пришла смертушка, и уже больше ни одного мгновения не ждала иного исхода, – она не складывала вины ни с себя, ни с детей, вина была и на них, так должно было быть в мире, так и было, и она даже на минуту не усомнилась в законности происходящего. Да, темна и непостижима русская душа, но усталость и напряжение в марте сорок третьего были предельными, и мать лишь (она рассказывала мне об этом много лет спустя) молила Бога скорее все кончить, и чтобы мы, дети, не мучились и не узнали ничего до самого конца. Привычно и ловко собрав младшего, она, словно провожая нас в школу, бегло проверила, как собрались мы с братом, затем все мы вышли в сопровождении молчаливо ожидавшего нас партизана; мать оставила дверь открытой, вернее, она не обратила на это внимания. Стыла глухая полночь, несильно постреливали, и откуда-то еще доносился оружейный гул. И еще дул влажный, черный, вероятно от ощущения

беспросветной ночи, ветер. Он дул порывами; вскоре можно было уже кое-что различать. Во тьме проступали большие сырые деревья старого сада – мимо них я бесконечно много раз проходил, не обращая внимания, а теперь вот заметил. Мать несла хныкающего спросонья меньшого на руках и всё что-то тихо ему говорила; я не знаю, передалось ли мне ее настроение, или на меня подействовало жуткое очарование этой мартовской ночи, самой зрелой ее поры, где-то сразу после полуночи, когда еще и первые петухи не подавали голоса и когда неумолимо зреет нечто тяжкое, дурное, злобное, зреет и вот-вот прорвется, хлынет на тебя, захлестнет и задушит, и, сколько ты ни зови на помощь, ничего не поможет и никто в мире не отзовется.

Я знал, что нужно броситься в темень, укрыться, заплутаться в деревьях и кустах, и не мог этого сделать, кровавый мрак ночи обессилил душу и сердце, и от холодного тумана, обвинившего мозг, все тело было немощным, пустым. Нельзя было бросить мать и братьев в последний час; я не знаю, почему родилось такое чувство, но оно появилось, окрепло и дальше уже ничего не надо было решать. Впервые в жизни у меня появилось ощущение приближения смерти, похожее на постепенное оцепенение; потом установилось полное равнодушие. Ну и что? Мгновение – и кончится, и станет ничего больше не нужно. И желание успокоиться, совсем ничего не знать и совсем не быть усиливало трагическое звучание промозглой мартовской ночи, слепой и безжалостной, сметающей всё.

Не берусь судить, провидение ли это, но конвоир привел нас прямо в домик Ковалева, под начальством которого работал отец до войны и детей-сирот которого уже давно опекала мать. В его доме расположился один из партизанских штабов, и в нем верховодил, кажется, прежний, еще довоенный начальник севской милиции, вернувшийся со своим отрядом из леса; это руководство заключалось в выявлении не успевших бежать или просто оставшихся по собственной воле полицаяев и всех других так или иначе сотрудничавших с немцами; происходило обычное при смене властей дело – мелкочейстая сеть прочесывала город, и улов, разумеется, был, не мог не быть.

Нас ввели в комнату, и сидевший за столом бородатый человек (стол был завален, заставлен едой, бутылками, усыпан окурками, какими-то бумагами и оружием) спросил у матери, где прячется муж, она сумрачно и уже как-то отрешенно ответила, что не знает.

– Всё ты знаешь, сука, – повысил голос бородатый начальник, и далее последовало не очень литературное выражение, частенько гремевшее у нас дома во время запоев отца. – Говори, стерва, мать твою!

– Не знаю, вот тебе крест...

– А-а, крест! Не знаешь? Туда ее, слышишь, Степка, туда, вместе со щенками! – окончательно разбушевался бородатый начальник, указывая на меня с братом. – Чтоб и следа не осталось! Туда, слышишь? Под горку, слышишь! Ну, чего ждешь, веди!

И мы опять пошли в сопровождении все того же молчаливого партизана, с ничего не выражающими глазами, привыкшими и к тому, к чему нельзя привыкнуть нормальному человеку. И не успели мы сделать от дома десяток шагов, как нас опять остановили; нам навстречу попался сам Ковалев, уже успевший вернуться домой после освобождения из концлагеря и сразу же назначенный начальником временной тюрьмы; удивительно, как быстро люди приспособляются к привычной модели жизни.

Ковалев вначале не узнал матери, он просто остановил партизана и поинтересовался:

– Опять ко мне? Черт те что, поспать не дают!

– Не-е, товарищ Ковалев, – впервые разомкнул уста наш конвойный Степка, и голос его оказался не по-мужски нежным, девичьим, почти стыдливым. – Энтих не к вам в тюрьму, отдыхайте себе на здоровье.

– А куда?



– Энтих под горку приказано...

Мать и я сразу узнали Ковалева, но мать стояла молча и ждала; и Ковалев, в общем-то смертельно уставший человек, с притупленными нервами и чувствами, уже готовился шагнуть мимо; скорее всего, он случайно скользнул взглядом по лицу матери, случайно и нехотя, – в таких обстоятельствах редко кто способен проявить излишнюю, ко многому обязывающую любознательность. Но здесь и этого случайного взгляда было достаточно.

– Паша? – спросил он не сразу. – Да не может быть!

Не выдержав, мать заплакала и сквозь слезы стала несвязно просить, чтобы стреляли всех сразу и чтобы дети не мучились долго.

– Глупости ты говоришь! – заорал Ковалев бешеным, срывающимся, высоким криком, и лицо у него задержалось. – А ну, поворачивай все за мной... Марш! – крикнул он еще громче, видя, что наш конвойный меланхолично переступает с ноги на ногу и что-то силится изречь. – Приказываю! Все за мной!

Мы опять повернули к дому Ковалева и пока ждали в одной из комнат под присмотром все того же Степки, в другой о чем-то бешено спорили и кричали; затем дверь оттуда стремительно распахнулась, из нее вышагнул Ковалев, за ним бородатый начальник. Он был красен и сверх меры возбужден.

– Ну, моли Бога, ангел-спаситель твой подвернулся, – сказал он, приостанавливаясь перед матерью и окидывая ее и нас ненавидящим, звериным взглядом; еще раз грязно выругавшись, он исчез в ночи, пьяный и беспощадный, но уже и бессильный, – то, что можно было легко сделать без огласки, теперь становилось опасным.

– Иди, – коротко сказал Ковалев матери. – Иди домой и ничего не бойся... иди, иди, перестань, никто тебя больше не тронет... Заутра к вечеру забегу, тогда и поговорим.

Ночь была по-прежнему беспросветной, тяжелой, и небо было словно придавлено к земле, душило. Я чувствовал свинцовую усталость, с трудом доплелся вслед за матерью до своего дома (нас сопровождал все тот же молчаливый Степка с автоматом), свалился на койку и провалился в черноту.

## 2. ДЕМОНЫ И АНГЕЛЫ

Пожалуй, переломным моментом в моей жизни стал именно пятьдесят восьмой год, когда я вновь завербовался в хабаровский леспромхоз и сразу же сбежал обратно. На второй день, ближе к вечеру, меня пригласил к себе Сергей Леонтьевич Рослый – раньше я уже писал о нем, живший в то время вроде бы и холостяком – его жена, известная дальневосточная писательница Юлия Шестакова, училась в Москве, на Высших литературных курсах, а сам глава семьи, скромный и добрый от природы человек, усердно тянул свою лямку, пас дочь и сына. К тому времени мы уже достаточно сблизились, и я за бутылкой водки рассказал ему о своем положении, о невозможности больше платить за комнату и невозможности работы вновь по найму в леспромхозе, и, следовательно, о необходимости возвращаться домой, на Брянщину.

Сидели мы с Сергеем Леонтьевичем у него в садовой сараюшке рядом с его домом – что-то вроде крохотного участка с двумя яблонями, грядками лука, помидоров и петрушки; осталось данное хозяйство еще от войны, когда нужно было выживать любыми способами и всю годную землю вокруг жилых домов разделили на крошечные огородики, многие к этому привыкли – земля имеет особую силу и тягу и всякий, хоть однажды соприкоснувшись с ней, потом ощущает ее зов.

Под потолком тускло горела пыльная лампочка; на фанерном ящике, накрытом газетой, красовался хлеб и нарезанная весьма щедро колбаса, еще – два больших граненых стакана.

– Ну, ладно, давай, – приподнял свой стакан Сергей Леонтьевич; мы запили домашним квасом, закусили колбасой, и Рослый достал папиросы. Закурили, иронически поглядывая на меня, хозяин вновь налил и неожиданно спросил:

– Ну, а дальше что? Вернешься в свой колхоз или там в район, ну, а дальше? А мой совет – стиснуть зубы, остаться в Хабаровске и дописывать роман. К тебе здесь начинают привыкать, еще месяца два-три – и ты окончательно притрешься. А я поговорю с Александровским, он человек опытный, что-нибудь и с жильем придумает. Ты же знаешь, в сентябре у нас совещание молодых писателей, приедут из Москвы, Ленинграда, вот и твой роман представим на совещание. Ты только подумай – сразу большой роман! Народный роман! Звучит? Ты талантлив, замолчать такой факт нельзя, вот и надо до осени перебиться, до сентября, а там всё сразу станет на свои места.

Я выразил сомнение в верности прогнозов хозяина, и он, откуда-то из-за ящиков, достал еще одну бутылку; он сдаваться не собирался.

– Я свой мир лучше знаю, – сказал он. – Зря заводишься. Надо пробиваться в газеты, на радио, завтра же поговорю в ТОЗе. Отдай им свой новый рассказ «Цена хлеба». Нет, нет, уезжать тебе никак нельзя из Хабаровска. Дорогой мой лесоруб, твоя судьба решается здесь. Мы просидели чуть ли не до рассвета; спать не хотелось, и я отправился к Амуру, в парк. Необходимо было побыть одному, подумать. И был странный рассвет, город еще не просыпался; по Амуру проползли две или три баржи, откуда-то снизу пришел теплоход, стал причаливать к дебаркадеру. Стремительно надвигался летний летящий рассвет, вот-вот, и солнце должно было показаться над Хехциром, там, где начинался и простирался Китай, еще одно вечное государство, строго хранившее свою самобытность вот уже много тысячелетий. И здесь же, в ста метрах от меня, у входа в Исторический музей, лежала огромная каменная черепаха, она словно бесшумно и незаметно переползла в современность из эпохи чжурчженей, народа, давно растворившегося в мареве времен.

И я ощутил эту великую и таинственную тьму времен, и холодок вечности плеснулся в душе, едва не убив ее, не превратив в очередной каменный символ. Зачем, зачем все они приходили и ушли? Что после себя оставили? Каменных черепах и баб? И зачем пришли мы сами, и какие свидетельства после себя оставим? Обеспложенную, обезображенную землю? Кладбища радиоактивных ракет, обугленные ракетодомы? Вольные, угасающие волны новых поколений без идеалов, а следовательно, без будущего? И что – Россия? Что – русский народ?

*Вымученные куплеты,  
Выдуманнные бои, –  
Где же, Россия, поэты?  
Где же гимны твои?  
Какие бесплодные тучи  
Над тобою из края в край?  
А пророк, в железах измученный,  
Хрипит про неведомый рай, –  
В ответ тишина немая  
Наползает со всех сторон –  
В горних пропастях замирает  
Слабый, провидческий стон, –  
В ответ тишина могильная,  
И ни ратника, ни вождя, –  
В глазах пророка всесильная  
Тоска по капле дождя.*

*Говорят, ты, Россия, нелепица,  
Не слушай, мол, никого, не гадай –  
Ты всего лишь небесная лестница  
Для других по дороге в рай, –  
Но будет весть и вырвется лава  
В огненные свои сроки,  
На распятыях кровавых  
Очнутся твои пророки,  
И в жажде горнего хлеба,  
Разорвавши оковы сна,  
Ты на скрижалях неба  
Высечешь свои письма.*

Не знаю, почему в памяти возникает тот или иной вопрос, давно, казалось бы, отболевший, и притом возникает совершенно некстати, ни к селу ни к городу. Но, с другой же стороны, русский вопрос, судьба русского характера, диалектика русской души так и не оставляли в покое на протяжении всей жизни. Вопросы и загадки, непостижимые тайны, неразрешимые проблемы – они то ослабевали, то усиливались, но никогда не исчезали полностью и проявлялись порой в совершенно неожиданных формах. Очевидно, у человека сокрыто и еще одно, неведомое науке чувство, а может быть и не одно, – необъяснимые, неподвластные логике решения и есть предчувствия или предвидения чувства, когда в человеке концентрируется и обостряется генетическая память сотен и тысяч прошлых поколений до него и когда ему начинают сниться пророческие сны, а в молодости он даже летает во сне... Случайно? Вряд ли. По старым поверьям, умершие родители снятся к перемене погоды, по Вернадскому – это всего лишь изменение атмосферного давления, вызывающее обострение глубинных, подкорковых инстинктов, той самой генной памяти, присутствие которой в повышенной для нормального человека степени и рождает величайших полководцев, поэтов, мыслителей и пророков, призванных вести и оберегать свои народы.

К рассвету откуда-то с Хехцира, из пространств Китая, потянул упорный ветерок, там, на востоке, вызревал еще один мировой центр тяжести, и его излучения, усиливаясь и распространяясь дальше и дальше, начинали тревожить мир всё сильнее. Одно дело – стоявший во главе страны Сталин, другое – пришедший ему на смену Хрущев, бездарный серый политик, проживший всю жизнь с задавленными комплексами и сразу же попытавшийся наверстать упущенное и явить миру свою гениальность.

России редко везло и раньше на правителей, но двадцатый век выдался для нее особо неурожайным, почти бесплодным, начиная с Николая II, неизвестно за какие заслуги канонизированного в конце этого же вымороченного века в святые мученики, и кончая последними президентами. XX век стал свидетелем вырождения правящей элиты в России, и, если бы не эпоха Сталина и не его стратегический, глобальный гений, о России давно бы уже забыли как о великой державе, явившей миру неведомую еще ему гуманистическую, духовную цивилизацию. Но о Сталине разговор особый и непростой; чем дальше отдаляется он во времени, тем масштабнее и рельефнее вырисовывается его фигура, приобретает мистический смысл на фоне карликовых ничтожеств, сменявших друг друга вслед за ним, действительно всенародным вождем-созидателем, строителем, убежденным философом разумной достаточности в жизни для любого человека. Он был грузином, но он оказался более русским, чем сменявшие его на главном державном посту хрущевы, брежневые, черненко, не говоря уже о горбачевых, ельциных и всех других. Он был кровавым, но с великой верой в оздоровление, верой, передававшейся народу и творившей чудеса.

Начиная с Николая II, проигравшего все войны и не сумевшего, несмотря на безграничную власть, из-за своего подкаблучного характера обуздать нарастающие внутренние негативные силы в империи и потому, не без основания, причисляемого к разрушителям российской государственности. Все дальнейшие, за исключением, как уже отмечалось, Сталина, все последующие генсеки и президенты были помечены каиновой печатью разложения, но Хрущев занимает в процессе распада, в похоронной процессии временщиков, особое знаковое злокачественное место. Именно он положил начало цепной реакции распада самой прогрессивной в мире идеологии; будущие историки должны будут детально и подробно исследовать зловещую фигуру доморощенного философа «оттепели», определить силы, выдвинувшие на самый верх этот фантом; несомненно, ученые вынуждены и обязаны будут углубиться и в личную жизнь своего предмета, в его двойственный, лживый характер.

Как всякая ординарность и серость, Хрущев и должен был ненавидеть Сталина, перед которым ему не раз приходилось скоморошничать. Но особой силы и устремленности его скрытая ненависть, надо полагать, достигла в пору исторической Сталинградской битвы, в момент, когда решалось вообще, быть или не быть Советскому государству и русскому народу, уничтожение которого и ставил своей конечной целью Гитлер. История удивительно парадоксальна и в то же время закономерна в своем движении, на ее фоне безошибочно высвечиваются человеческие характеры, их истинная суть.

Именно в самый напряженный период Сталинградской битвы Хрущев, будучи членом Совета Сталинградского фронта, всё бросив, правда с разрешения Сталина, прилетел в Москву, чтобы вымолить прощение своему сыну-убийце от первого брака, приговоренного уже за второе убийство к смертной казни; по свидетельствам очевидцев, Хрущев, прямо с аэродрома ринувшись в Кремль, был просто невменяем и в конце концов, услышав от Сталина, что никто, в том числе и он сам, Сталин, не имеет права нарушать закон, бросился на колени и стал хвататься за сапоги Сталина, чуть ли не целовать их, истерически рыдая и крича, что он не переживет смерти сына. Даже железный стоик Сталин растерялся от этих бабьих воплей и стенаний и приказал своему неизменному Поскребышеву немедленно вызвать охрану и врача. Этот случай многое проясняет в характере Хрущева, тем более на фоне величайшей в истории человечества битвы, когда гибли и оказывались искалеченными сотни тысяч солдат Сталинградской битвы. В главном Сталин не дрогнул, не мог дрогнуть, ибо это был бы уже не Сталин; садист-убийца был расстрелян, но именно его сердобольный папаша оказался волею судьбы, а скорее случая, а еще вернее, пробным движением копившихся внутренних негативных сил во главе Советского Союза; ведь раб никогда ничего не забывает и всегда лелеет сладкую надежду оказаться на месте господина. Да, никто пока не смог внятно объяснить, почему Сталин так неожиданно отправился в мир иной как раз накануне важнейшего пленума партии, где он должен был объявить имена своих преемников. Много неразгаданных тайн таят в себе сыпучие пески истории, грядущие раскопки советского периода будут ошеломляющими по результатам, начиная с ленинских времен и кончая последним периодом нравственных уродов – генсеков и президентов.

\*\*\*

Мимо Амурского утеса неостановимо катит свои воды великая река, почти разрубившая Азию на две половины, северную и южную, и под сдержанный могучий шум течения хорошо думается.

Итак, в личной жизни перелом уже наметился. На следующей неделе Александровский договорился с городским начальством, и мне выделили отдельную комнату в общежитии Института инженеров железнодорожного транспорта. Железная койка, небольшой квадратный

столик в углу, тумбочка; за комнату нужно было платить какие-то копейки, и теперь можно было писать сутками. И почти сразу были опубликованы мои рассказы в «Тихоокеанской Звезде», и на краевом радио они имели определенный успех, – и вдруг выяснилось, что у меня уже немало знакомых среди тех, кто приехал из Ленинграда и Москвы ухватить за хвост свою птицу счастья, в том числе и молодых евреев. Здесь, в Хабаровске, начинали свою литературную карьеру Римма Казакова, Игорь Золотусский, Борис Можаяев, Анатолий Ткаченко, ставшие впоследствии московскими мэтрами. Была и местная литературная элита. Тогда литература была в моде и обеспечивала довольно приличное существование, если удавалось выбиться хотя бы на средний уровень; среди советского еврейства, как правило, все или почти все имели высшее образование, весьма сносно умели писать по-русски. И в искусство, в литературу, в театр, кино и идеологию молодое еврейство тянулось неудержимо.

Оказавшись в Хабаровске, большом своеобразном городе со своей физиономией, в совершенно непривычной для меня среде писателей, журналистов, художников, я, хотя и был внутренне подготовлен солидным количеством уже прочитанного, освоенного багажа, я совершенно не думал о каких-либо национальных проблемах, тем более о еврейском вопросе, – мы все, и русские и китайцы, и украинцы, и корейцы, и нивхи, и нанайцы, и евреи с немцами, жили на одной земле и в одном Отечестве. Над подобными вопросами я стал задумываться значительно позже, уже в Москве.

Одним из наиболее близких для меня друзей в первое время в Хабаровске стал Иван Ботвинник, может быть из-за своей знаменитой фамилии, а скорее всего, из-за своей доброжелательности, легкости в общении, веселого и саркастического характера. Именно он затащил меня на краевое радио, в отдел литературы, познакомил с его заведующим – Димой Маленковичем, которого все так и звали – просто Димой, убедил дать ему для ознакомления два или три рассказа, а затем щедро угостил в одном из буфетов на улице Карла Маркса шампанским и стал цветисто рассказывать о тайнах местной литературной жизни, о краевом и городском начальстве, о том, кто чего стоит из местной литературной элиты. Он познакомил меня с семьей и стал частенько приглашать к себе домой пообедать или поужинать, зная мои стесненные обстоятельства. Так вскоре и произошло, дня через два-три, после очередного похода по забегаловкам на центральной хабаровской улице, в каждой из которых мы, по обыкновению, выпивали по стакану шампанского, мы оказались у него в отдельном небольшом домике, где-то в районе площади Ленина, в непривычной для меня атмосфере дружной еврейской семьи – двое стариков, двое детей, Иван с женой, в семье, с устоявшимися за много лет отношениями. Дом был щедрый, хлебосольный; судя по вниманию ко мне, Иван уже не раз рассказывал дома и о моем появлении в Хабаровске, и о нашем с ним знакомстве. Женщины в этом семействе были на втором плане, незаметные, мягкие, появляющиеся в самые необходимые моменты, но и сам Иван, и его тесть, кажется профессор, Михаил Семенович привлекли внимание сразу. Они были колоритны и подчеркнута интеллигентны. Хотя Михаилу Семеновичу было уже под семьдесят, он был одержим маниакальной идеей купить винтовку или хотя бы приличное ружье и каким-нибудь образом добраться до Израиля, чтобы защищать его и быть погребенным в Святой земле. Эта навязчивая идея не давала старику покоя, и особенно после стакана-другого вина; Иван же, иронизируя над тестем, подчеркивая, что сам он прежде всего русский человек и ни в какие мифы о Земле обетованной не верит и что провести даже паршивое ружье от Хабаровска до Земли обетованной нереально, навязчивый бред, утверждал, что самое великое в жизни – женщина и уже потом все остальное. И в то же время самой задушевной его мечтой была литература – он давно уже писал сатирическую повесть на современную тему и все обещал дать мне почитать; в ней в обобщенном образе он хотел вывести все местное начальство сразу, и назвал он повесть поэтому «Жил-был Головодьня» – весьма примечательное название, оно

во многом соответствовало и характеру самого автора, и его жизненной философии эпикурейства, которую он по мере сил и возможностей пропагандировал. Но его жена Нина была совершенно земной женщиной; приглашая приходить к ним обедать почаще, она позаботилась о кандидатках в жены для меня. В следующий раз пришли две перезревшие девушки-еврейки, одна училась на четвертом курсе мединститута, совершенно бесцветная, робкая, с лицом в прыщах; имя ее я сейчас точно припомнить не могу, кажется Соня. Вторая же, тонкая, чуть ли не выше меня ростом, не выпускала изо рта сигарету, пила наравне с сильным полем и красивым проникновенным голосом пела русские песни и цыганские романсы; звали ее Ада, она была учительницей то ли рисования, то ли черчения. Как я узнал позже, она была известная в городе сирена, но тогда, в первый раз, я слушал ее с удивлением – подобные методы оболыщения для меня были внове.

Изрядно навеселе, прихватив несколько бутылок вина, Иван и девицы пошли провожать меня к моему новому местожительству – общежитие железнодорожного техникума; над Хабаровском пласталась звездная ночь; несмотря на мои нерешительные отговорки о необходимости выпастись – завтра был рабочий день, они энергично прошли в мою тесную вертикальную комнату на втором этаже. Шуметь не разрешалось – в общежитии после одиннадцати вечера устанавливалось относительное затишье. Суровость и аскетичность моего жилья произвели должное впечатление; Иван философски заявил о неких зреющих плодах и о бочке Диогена, девицы растерянно оглядывались, не находя стульев, и, по-моему, прыти у них несколько поубавилось. Стул был один; мы придвинули стол к койке, кое-как разместились, распили бутылку вина, разговаривая вполголоса, и я, сославшись на необходимость завтра рано вставать, проводил их до выхода. Иван сделал попытку увлечь меня с собой, в цивилизованный мир, к простым житейским радостям и удобствам, даже с индивидуальной ванной и туалетом, но меня в данный момент терзали иные демоны, я должен был сдать к концу недели последнюю треть романа «Глубокие раны» на машинку, чтобы поспеть с ним на совещание молодых писателей. Да и девицы были чересчур уж экзотичны – я еще не отошел от народных, вернее, крестьянских представлений о женщине – лихо пившая и курящая сирена вызывала у меня лишь художественный интерес.

Нет ничего выше самой жизни, и никто не может предугадать ее поворотов, ее затейливой игры даже и в своей собственной судьбе, недаром говорится, что человек предполагает, а Бог располагает.

В начале лета я отнес в журнал «Дальний Восток» два или три своих новых рассказа, помнится – «Таежная песня», «Залом», еще что-то, кажется «Самородок». И они попали на редактуру к ответственному секретарю журнала Рустаму Константиновичу Агишеву, это был человек импозантный, даже величественный, только что напечатавший солидный роман «Зеленая книга» и, естественно, перешагнувший за черту, отделяющую начинающих и литературных мэтров и в столицах, и в провинции. Когда я увидел выправленный им свой рассказ «Залом», где было переписано и переставлено с места на место чуть ли не каждое слово, я вначале оторопел, затем, пересиливая себя, тупо просмотрел густую правку и взорвался, заявил, что в таком виде рассказ напечатан быть не может и что я его забираю. Литературный мэтр, потрясенный наглостью молодого автора, в первые минуты мог разговаривать лишь междометиями; он был татарин и никак не мог понять, что он не так сделал, чем нехороша его профессиональная правка. Назревал нешуточный взрыв, но очень кстати подвернулся тот же Сергей Леонтьевич Рослый и, так как серьезно ссориться никто не хотел, унес рассказ к себе и на том ненужный конфликт был исчерпан. В дальнейшем Агишев уже никогда не пытался взять что-либо мое на редактирование и всегда предусмотрительно самоустраивался. Но уже вскоре, где-то в начале осени – конце лета, я встретил на лестнице, ведущей на второй этаж здания Союза

хабаровских писателей, молодую женщину, с которой мимоходом, больше понаслышке зная ее, поздоровался. Она была дочерью Агишева, заканчивала в Москве Историко-архивный институт. Годом раньше мы уже встречались на совещании молодых писателей Дальнего Востока; она писала рецензии, статьи, рассказы, печатала их в местных газетах и уже слыла талантливой. Обо всем об этом мне поведал Игорь Золотусский, с которым мы в то время близко сошлись; он тоже готовился к участию в совещании молодых как начинающий литературный критик. Обедая с ним в ресторане на дебаркадере в речном порту, мы единодушно осудили стремление протаскивать в литературу литературных сынков и дочек и решили совместными усилиями противостоять этому злу. Время посмеялось над нашими планами – судьба распорядилась по-своему; через год с небольшим дочь Рустама Константиновича Агишева стала, после недолгого и бурного сближения, моей женой, а с Игорем Золотусским я вскоре же смертельно и навсегда рассорился. Мне не понравились его короткие рассказы, и я по-дружески прямо сказал ему, что критик он классный, а вот рассказы его – никакая не проза, а беспомощная галиматья; никаким прозаиком здесь и близко не пахнет. Я тогда был совершенный новичок и даже не предполагал, что несостоявшийся прозаик – стихийное бедствие, правда, не такое уж и серьезное для общества – ну, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

Глаза у моего критического друга, за мгновение до этого улыбающиеся, искрящиеся, веселые, мгновенно заледенели, он оттолкнул от себя тарелку с ломтем превосходной жареной белуги, и у него вырвался сдавленный смешок, такой иронично-интеллектуальный.

– Знаешь, а я тебя уничтожу, – пообещал он тихо и встал. – Совсем уничтожу, я тебе не только здесь, но и в Москве все перекрою... Тебя не будет ни здесь, ни там. Нигде.

Я тоже постарался интеллигентно усмехнуться ему в ответ и не остаться в долгу.

– А что? Попробуй, – сказал я, как мне казалось, ласково, вдруг совершенно иным, оценивающим взглядом окидывая его невысокую, болезненную фигуру, и во мне колыхнулось что-то темное, из неведомых глубин; наши глаза встретились.

– Ну, а что ты мне сделаешь? – не удержался он.

– Ну-у, на свете много всего, – подумал я вслух. – Например, мешок на голову и... слышишь, как Амур шумит? А? Вечность. Крякнуть не успеешь, где-нибудь за Утесом вынырнешь...

Он передернул плечами, оглянулся и, успокоенный многолюдством ресторанный зала на дебаркадере (почти все столики были заняты), одарил меня очередным пламенным аравийским взглядом темных непроницаемых глаз и молча стал пробираться к выходу, время от времени как бы ненароком оглядываясь. После этого мы ни разу в жизни с ним не разговаривали и один на один не встречались. Он попытался пристроить в центральной печати разгромную обо мне статью, в частности в газете «Литература и жизнь», но тогда во главе ее находились совершенно иначе ориентированные люди, в том числе и знаменитый Семён Бабаевский. И у моего Зоила ничего не вышло ни тогда, ни после. Свой критический талант, который у него, несомненно, был, он переключил преимущественно на русскую классику; крепко оседлал Гоголя и Тютчева и безбедно, победителем, прогарцевал на них по всей своей жизни, сделавшись важным мэтром; в годы перестройки, дождавшись своего звездного часа, организовал из такой же, вроде себя, братии даже отдельный писательский союз.

\*\*\*

Каждая река имеет особый, неповторимый характер и ревниво оберегает свои тайны – Амур был не исключением. Можно было часами стоять на Утесе и смотреть на его быстрые ржавые воды, соединяющие океан с материковыми глубинами Азии.

Как бы там ни было, но после совещания молодых в Хабаровске дела у меня пошли веселее. Во-первых, рукопись моего романа «Горькие травы» прочитал Александр Дементьев, в то время

первый заместитель Твардовского из «Нового мира», и во всеуслышание милостиво огласил, что в «Новом мире» роман печатать рановато, но в хабаровском же издательстве или журнале это и можно, и даже нужно. Да, человек предполагает, а Бог располагает, и главное, что произошло в начальном периоде моей жизни в Хабаровске и вхождения в литературную среду большого города, – удивительное сочетание обстоятельств. И сближение с Сергеем Леонтьевичем Рослым, и атмосфера благожелательности в среде творческой общественности, и свойственный людям интерес к новизне, к появлению чего-то экзотического. Неотесанный, с шестью классами лесоруб, здоровый молодой мужик, хлещет шампанское, вдруг написал большой роман, пусть не на местную тему, и подоспевшее совещание молодых, на котором размякшим и подобревшим от щедрого дальневосточного гостеприимства столичным знаменитостям было умело преподнесено местное блюдо с остринкой из нивхов, нанайцев и лесорубов с рыбаками и охотниками, – и всё пришло в соответствующее движение. Я тут же был приглашен в Хабаровское книжное издательство к самому директору Ивану Авраамовичу Цурикову, и после недолгой беседы с ним со мной был подписан договор на издание романа «Глубокие раны», хотя в журнале «Дальний Восток» печатать роман и не стали под предлогом его несоответствия местной тематике, словно бы Дальний Восток или Сибирь не принимали участия в Великой Отечественной. Но обижаться на это было бы глупо; прорыв и без того был ошеломляющий, неожиданный, глубокий; даже Римма Казакова, тоже начинающая тогда в Хабаровске свою поэтическую карьеру, предложила мне соединить наши жизни, купить автомобиль и помчаться дальше вместе. Случилось это на одной из вечеринок в ее комнате после неимоверного количества выпитого шампанского и было, разумеется, хмельной шуткой; я и представить себе не мог тогда два письменных стола рядом, две усердно склоненные над ними головы, творящие литературу и время от времени ныряющие в постель для короткого сна и для других необходимых жизненных процедур.

– Пойдем, – сказал я Ивану Ботвиннику, активному инициатору встречи; его повесть «Жил-был Головодьня» тоже обсуждалась на совещании молодых и потом даже была опубликована в «Новом мире».

– Ты, Пётр, что дурака валяешь? – удивился Ботвинник и сам весь сделался как вопрос – сухой, поджарый, в больших очках. – Посмотри, сколько еще горячего!

– Ухожу, – упрямо повторил я, и любивший долгие и обстоятельные застолья с философскими диспутами Иван Ботвинник неохотно потащился за мной, всем своим видом выражая свое неодобрение и недовольство.

Мы прошли в парк к Амуру, сначала на Утес, затем долго сидели на скамейке и молчали; было непонятно, что нас сейчас связывало и почему мы вместе рядом; говорить ни о чем не хотелось. Но Иван не умел долго молчать.

– Неужели так и думаешь прожить совершенно один? – спросил он с затаенной усмешкой. – Ну, эта, другая, какая разница? Все равно надо будет определяться. Так уж устроено, женщина...

– Какая женщина? – оборвал я, недовольный неуместным вторжением в ту внутреннюю тишину, начинавшую было устанавливаться в душе. – Тоже, нашел женщину!

– Ну, а кто же она, по-твоему? – готовно поддержал затронутую тему Иван.

– Поэтесса, вот кто! – сказал я. – Танк, «Тигр», любого на своем пути сомнет и не заметит, проследует дальше. Тоже – нашел женщину!

– Тогда, изволь, женись на какой-нибудь рыбачке или колхознице, давай, поедem к нанайцам, выберем любую, – предложил Ботвинник и сам весело расхохотался. – Будешь романы строчить, а она будет тебе строганинку скоблить и рожать. Сто грамм спиртика, строганинка, знаешь как дело пойдет!

– Хорошо, хорошо, ты, конечно, большой сатирический ум, только позволь уж мне самому



выбирать хомут, как-нибудь примерю по себе, – отрезал я, и разговор, как это часто бывает у мужиков в такой обстановке, перешел исключительно на женщин, существ, по словам моего старшего и более опытного друга, совершенно другой, чем мужчина, породы; Ботвинник умел и любил говорить, и я слушал, молчал, вновь погружаясь в свою внутреннюю тишину.

Странное было состояние, ничего не хотелось, только сидеть и слушать тишину, душная тьма навалилась на город, на вольную, могучую реку, еще свободную на всем своем протяжении от удушающих перемычек на противоположный, китайский берег. Сколько народов прошло здесь и давно уже растаяло в мареве времен? Кидани, чжурчжени, монголы... А воды Амура всё катятся и катятся мимо, смывая с огромных пространств и растворяя в себе народы и цивилизации, и только звезды над ними не меняются, отражаются в них, как тысячу и миллион лет назад.

Откуда-то приходили и куда-то уходили сказочные в кромешной ночи редкие теплоходы и буксиры. Иван Ботвинник вспоминал об очередной истории в своих отношениях с прекрасной половиной рода человеческого, искренне сожалея, что мы не прихватили с собой бутылочку вина, перебивая свои сожаления поэтическими афоризмами Хайяма, а у меня сталкивались в голове и рушились неведомые миры, рождались и рассыпались удивительные картины незнакомой, неведомой жизни, появлялись и исчезали вроде бы знакомые и незнакомые лица, слышались обрывки странных разговоров, люди боролись, любили, страдали, появляясь из тьмы жизни, и растворялись в ней. Завязывался и уточнялся замысел нового романа, теперь уже из камчатской жизни и действительности – что-то молодое, активное, задорное – любовь, девственная природа, вулканы, лесные пожары. И я почти не слышал своего собеседника, мне было не до скучных рассуждений о сложной панораме взаимоотношения полов; мое воображение было ярче навязываемой мне собеседником прозы жизни, и эта тайна творчества влекла меня к себе куда сильнее, чем реальность. Да потом в своем мире я был совершенно свободен и независим ни от власти, ни от женщины, пусть самой распрекрасной; это был только мой мир, моя вселенная, а в реальности... О ней я вообще старался не думать – ни своего угла, ни твердого заработка, даже собственного чайника не было, комендант студенческого общежития выдал мне казенный; но то, что я благодаря милости начальства был на несколько месяцев обеспечен жильем, уже составляло бесценное богатство. Целых полгода, а то и больше!

Ну, а дальше я заглядывать не хотел, запрещал думать; я сейчас старался избегать лишних разговоров, лишних знакомств, чтобы поменьше отрываться от письменного стола, от рукописей.

Но жизнь и здесь оказалась богаче и щедрее; и ночной разговор с Ботвинником над Амуром оказался своеобразным водоразделом между прошлым и будущим. Разумеется, никто не может вычленив формулу, каким образом и почему женщина выбирает того или иного мужчину и наоборот. Пожалуй, на неодолимом стремлении разобраться в этом вопросе и построена вся мировая литература, как прошлая, так и современная, но потому-то и влечет к себе эта тайна, что подобное, повторяясь неисчислимо количество раз, каждый раз происходит совершенно по-иному, для каждого по-своему.

\*\*\*

Вторично, после нашей первой, мимолетной встречи, с дочерью Рустама Агишева мы встретились лишь через год, когда она уже закончила институт и вернулась в Хабаровск, опять где-то ближе к осени, и сразу устроилась работать на Дальневосточной студии кинохроники.

Мы столкнулись друг с другом, как ни странно, всё на той же лестнице на второй этаж в Хабаровском отделении Союза писателей, она зачем-то зашла в редакцию к отцу. И ничего в этой короткой встрече опять же не было; мы поздоровались довольно сдержанно, обменялись

несколькими ничего не значащими фразами. Но теперь были ее глаза, яркие, наполненные тревожным светом непонимания, скорее всего, это было недоумение или даже обида, что кто-то может не обращать на нее внимания. Она была красива от смешения в себе самых разных кровей и знала это.

И потом были встречи, теперь совершенно другие – началась извечная игра, заложенная в живое существо самой природой, и в нее втягивались все новые и новые лица, прежде всего родные самой Лилианы, их и мое окружение. Одни многозначительно молчали, другие судачили, но всё главное, разумеется, происходило между нами двоими, реальную картину можно воспроизвести только в романе, что я потом и попытался сделать уже в Орле в «Камне-сердолике». На самом же деле всё было гораздо сложнее, тоньше и в то же время гораздо объяснимее. Почти инстинктивно стараясь не упустить первой волны литературного успеха, я гнал повесть за повестью, рассказ за рассказом; пришло предложение издать сборник повестей и рассказов в Благовещенске, в Амурском областном книжном издательстве. Запершись, избегая дружеских и других встреч, я с месяц готовил рукопись, намереваясь сам отвезти ее в Благовещенск. Но предыдущая работа над рукописями сразу двух романов, над десятком повестей и рассказов, бессонные ночи, беспорядочное питание, вернее, отсутствие оно, так, случайно раз или два где-нибудь перекусишь, а то обойдешься и стаканом чая с каким-нибудь случайно отысканным сухарем или засохшим куском хлеба; всё это уже начинало сказываться. Ни с того ни с сего то и дело привязывались частые ангины, о чем в суровой камчатской действительности я и не слыхивал. Правда, именно на Камчатке пришлось переболеть жесточайшим двусторонним воспалением легких, последствия которого тоже давали себя знать; врачи настоятельно рекомендовали бросить курить и немедленно удалить гланды. Нужно было на две-три недели лечиться в больницу, что казалось мне после первых литературных успехов непозволительной роскошью. Терять драгоценное время из-за каких-то пустяков, когда, по сути дела, сделаны лишь первые, начальные шаги и ничего еще главного не сказано, было немислимо; тотчас к таким мыслям приплелась и прочая заумная ахинея о высоком и бестрепетном служении народу и литературе, как будто народу, кроме хлеба и продолжения рода, когда-нибудь было нужно еще и какое-то непонятное служение. Как будто русская литература, действительно величайшая в мире по жертвенности и духовности, хоть на один волос прибавила русскому народу счастья или благополучия. Но в том-то и дело, что Пушкин, словно весенний соловей, пел прежде всего для себя и своего ближайшего окружения; Гоголь, выписывая в русской жизни самые неистребимые в своей живучести типы, также утверждал прежде всего самого себя. Достоевский же, творя и созидая свои мрачные, мгlistые миры на грани распада сознания, небытия, света и мрака, и узаконивая свое право художника на исследование самых животных инстинктов человека, пытался сам себе доказать свою неподсудность даже перед Богом; Толстой, величайший в русской жизни еретик, живописанием своих многочисленных смертей старался привыкнуть к мысли и о собственной неизбежной смерти.

Хотя я еще не задумывался о природе и тайне творчества, но от моей неофитской неосведомленности сам процесс перегрузок не становился менее разрушительным; долгие физические перегрузки, внезапно сменившись отшельническим сидением за столом, не различающим ни дней, ни ночей, сказывались на мне не лучшим образом, и когда однажды резко кто-то постучался в дверь и, не дождав ответа, вошел, я долго не мог понять, кому я понадобился.

– Как вы плохо выглядите, Петя! – услышал я знакомый голос, и только тогда очнулся – от двери ко мне приближалась Лиля, тоненькая, изящная, с распахнутыми навстречу неизвестности глазами. – Вы больны? Боже мой, как здесь накурено! Разве можно столько

курить? Почему вы не откроете форточку?

– Боюсь простудиться, – не совсем любезно отозвался я, больше от растерянности, неохотно поднимаясь навстречу неожиданной гостье. – Что же вы меня не предупредили, что придете? Видите, какой у меня беспорядок?

– Не сердитесь, вы обещали позвонить. Прошло уже две недели, я начала тревожиться, – сказала она, протягивая руку. – Не случилось ли с вами чего? Ведь в этом нет ничего плохого? Видите, я оказалась права – у вас такой нездоровый вид, вы больны? Едва дождалась, так долго тянулся день... Я прямо с работы...

– Я готовлю сборник для издательства в Благовещенске, – сказал я, пропуская ее к единственному стулу. – Надо успеть в срок, спешу, я должен через три недели отвезти туда рукопись и подписать договор, никуда не выхожу, – говорил я, чувствуя, что говорю совершенно не то и выгляжу совершенным идиотом. В мою конуру каким-то солнечным ветром занесло существо из другого мира, передо мной стояла молодая красивая женщина с огромными лучезарными глазами, естественно, не верившая ни одному моему слову, да, пожалуй, и не понимающая, а то и не слышавшая их. Но меня словно сковала непонятная сила, я старался переломить свое ослиное упрямство и не мог, не знал, как выбраться из самим же собой расставленной ловушки, и только больше злился и на себя, и на непрошенную гостью, и на все на свете.

– Вот видите, прямо с работы, – я вновь безуспешно отыскивал очередную лазейку к бегству, всё острее чувствуя свою полнейшую опустошенность и бессилие и понимая, что нужно забыть ненужное сейчас мужское самолюбие и просто положиться на авось – куда-нибудь кривая да вывезет. – А я ничего вам предложить не могу, ничего нет... кипяток... еще бутылка вина есть. Даже стул, как видите, всего один, да вы садитесь, садитесь! Я на кровати пристроюсь.

– Какой смешной, – сказала она, вновь обволакивая меня тревожно льющимся светом из широко распахнутых глаз и словно притягивая к себе. – Кипяток, бутылка вина, какая-то чепуха... разве это главное? Мне захотелось вас увидеть, а вас всё нет и нет... Знаете, когда на этот раз я подъезжала к Хабаровску, по краевому радио передавали ваш рассказ «У моря», меня тогда поразила какая-то странная музыка, магия слов в этом рассказе, она меня потом долго преследовала. Прямо наваждение какое-то...

Пересиливая в себе эту уже возникшую связь между нами, я предложил:

– Вы тут побудьте, а я схожу за кипятком, в тумбочке, по-моему, должны быть конфеты. Они там давно валяются, наверное, закаменели.

– Кипяток, вино, а теперь еще и конфеты – целое богатство! – Непонятно было, издевается она надо мной или так же, как я, не находит слов, боясь говорить о главном.

Всё с тем же нескрываемым жалостным недоумением она разглядывала большое, совершенно голое окно, в стеклах которого уже начинала сгущаться ночь, задержалась взглядом на наваленных на широком подоконнике грудями книгах и рукописях.

– Конфеты, вино, вон книг сколько, а вы всё жалуетесь, – и опять нельзя было понять, всерьез ли она говорит или издевается, но я уже невольно для себя втягивался в игру. Еще посмотрим, чья возьмет, подумал я, отправляясь за кипятком в кубовую к титанам, безотказно отпускавшим свою бесплатную, но благодатную продукцию в любое время дня и ночи. Стараясь собрать скачущие мысли, приказывая себе оставаться совершенно спокойным, я вернулся с полным чайником; однако в комнате уже что-то неуловимо переменялось. Гостья уже успела смахнуть со стола пыль, какие-то крошки, настезь распахнула окно, и воздух в комнате заметно посвежел.

– А как же вы пишете? За столом темно, далеко от окна, – спросила она.

– Когда как, – ответил я неопределенно, чаще на подоконнике.

Мы выпили вина, закусив окаменевшими конфетами, затем стали пить кипяток, слегка

сдобрив его вином; я устроился на кровати, она сидела почти рядом на стуле у шаткого узкого стола, меня раздражала не сходявшая у нее с лица какая-то затаенная улыбка, какой-то внутренний затаенный огонь, сжигавший ее.

– Знаете, Лилиана, – решил я, называя ее полным именем, что вызвало с ее стороны легкое движение; улыбка наконец исчезла. – Знаете, давайте напрямую. Ведь мы оба говорим об одном, а думаем о другом. Пусть между нами не будет недомолвок. Я не тот человек, который вам нужен, вы молодая, красивая, вам нужно и соответствующее оформление. А я... на мне кандалы, я прикован к своим галерам пожизненно. Вот, лет с четырнадцати пишу стихи и не собираюсь бросать. У нас ничего с вами не получится.

– А кто вам сказал, что у нас должно что-то получиться? – спросила она спокойно. – Я ни на что не претендую. Просто мне интересно говорить с человеком, написавшим такой красивый музыкальный рассказ. Я так люблю литературу, могу всю ночь слушать вас, ведь это вы написали. А еще ваш рассказ «Таёжная песня»... Слышите, опять музыка.

– Ночью надо не разговаривать, а спать, – сорвалось у меня не совсем дружелюбно.

– Вы меня гоните? – спокойно уточнила она, не выказывая ни смущения, ни растерянности, и глаза у нее посветлели... – За что же такая немилость, еще ведь не поздно. И вы ведь хотите, чтобы я осталась, только не позволяете себе в этом признаться. Но почему, почему?

И тут сработало шестое или даже десятое чувство; судьба посылала мне больше, чем женщине, судьба неожиданно щедро дарила мне надежного друга и твердь под ногами; всё это вдруг померещилось, брызнуло ярким светом, сцепилось в моем сознании. Конечно, и здесь можно было ошибиться, жизнь уже преподнесла мне достаточно ощутимых уроков, но, кажется, мое бесконечное окаянное одиночество кончалось. Нужно было что-то сказать, немедленно что-то сделать, отступить, сманеврировать!

– Поступайте, как хотите, – выдал я очередную нелепицу. – А мне, действительно, нехорошо, мне хотя бы отоспаться...

– Вот и прекрасно, давайте ложитесь, обязательно надо заснуть, а я посижу около вас, пока вы не заснете. Ложитесь, ложитесь, у вас глаза не смотрят, закрываются... Всё пройдет, пройдет. Ложитесь... Вы стесняетесь? Так я отвернусь...

– Еще чего, – пробормотал я, протестуя неизвестно против чего, в то же время стараясь не перешагнуть черты, из-за которой уже нельзя будет возвратиться. – Вы тоже ложитесь, не будете же вы сидеть вот так всю ночь около меня, спать сидя. Как-нибудь поместимся. Давайте выпьем еще...

Заговорщески, улыбаясь одними глазами, мы допили вино; была странная ночь, в темном, во всю стену, окне – ошеломляюще яркие звезды. Мы лежали на тесной железной койке; в голове плыло; преодолевая наваливающееся забытьё, я рассказывал о своей жизни, о самом тяжелом и темном, о чем никогда никому не рассказывал. Даже о том, что совсем недавно ко мне сюда, в общежитие, приходил майор из КГБ и подробно расспрашивал об отце, затем перевел разговор и на то, почему я поселился в общежитии студентов железнодорожного транспорта, которые потом должны будут разъехаться по всей стране, и интересовался, что это за книга должна у меня выйти в следующем году в Хабаровском издательстве.

И я почувствовал у себя на лице ее прохладную легкую ладонь, чуть слышное прикосновение.

– Спи, – сказала она тихо. – Всё это такая ерунда... твой отец, твои подозрения... Этот же тебе сказал, что мешать с книгой они тебе не станут, не собираются... Спи, право, ерунда всё, всё это скоро пройдет и забудется. Ни о чем не думай, спи! Главное – идти своей дорогой, ни на кого не оглядываться, спи, спи, – и ее рука легла мне на грудь, затем я почувствовал легкое прикосновение ее губ. Даже не поцелуй, а тихий, почти неслышный вздох или вопрос, обращенный скорее к самой себе, и большего высказать ни ей, ни мне сейчас было нельзя –

свершилось нечто самое сокровенное и самое необходимое.

Пожалуй, именно эта странная ночь, с ее зыбкостью и недоговоренностью, со звездами во все черное окно, и явилась в наших отношениях решающей. Мы стали чаще встречаться, ходили в кино и в театр, больше в оперетту, иногда вместе ужинали в ресторане; я стал бывать у нее дома, где ко мне, даже не скрывая удивления и недоверия, присматривались, словно к неизвестной досель, экзотической породы зверю, а мать Лили, весьма разносторонних дарований дама, в разговорах со мной сразу же поднимала проблему женской эмансипации; я долго увиливал от диспута с человеком, знавшим чуть ли не на память древних греков, Шекспира и Пушкина, но однажды, не выдержав, вспомнил древнюю крестьянскую мудрость, говорившую о том, что мужику место во дворе, а бабе в избе, возле печи и детей. Трудно передать бурный протест женщины, раз и навсегда ушибленной эмансипацией, прожившей с мужем к тому времени около четверти века и только на восемнадцатом году совместной жизни зарегистрировавшей свой брак, железно-убежденной в абсолютном равенстве полов.

– Вот за вас я бы никогда свою дочь не отдала! – горячо заявила моя будущая теща и, вооружившись половой щеткой, стала нервно мести комнату, в том числе и из-под стола, за которым мы все сидели, а затем, не в силах успокоиться, добавила: – Вам нужна не свободная гордая женщина, а раба? Вы еще молодой человек, Петя, вам надо изживать свою дремучесть!

– Да, да, Серафима Клавдиевна, – ответил я. – А вот сейчас метете у меня из-под ног – тоже ведь не совсем вежливо. У нас в деревне по такому случаю говорят – гостей, мол, выметают поскорее...

– Чепуха, – решительно отмела мои доводы хозяйка, с еще большим усердием продолжая наводить порядок. – Опять сплошные предрассудки, какое-то средневековье!

Разряжая обстановку, хозяин дома извлек откуда-то, к явному неудовольствию супруги, небольшой сосуд чистого спирта, и мы с ним, под предлогом памяти о моей камчатской эпопее, налили в стаканы, где-то чуть ли не по половине. Рустам Константинович потянулся к графину с водой, чтобы, как это и полагается, разбавить спирт, но я решительно отказался; я уже вошел в некий непилотируемый полет; я чувствовал, что весьма несимпатичен хозяйке дома, и мне хотелось прояснить наши с нею отношения до конца.

– Нет, Рустам Константинович, мне не надо, – остановил я его. – Раз уж вспоминать Камчатку, то по-настоящему. Знаете, выезжаем, бывало, на работу в шесть утра, темень кромешная, мороз за сорок, глаза стынют. Собираемся у поселкового магазина, там у нас такая водка была, продавщица, она тут как тут, ядреная такая баба, шаль у нее в инее, глаза тоже, ресницы мохнатые, все в инее. И всем по стакану чистого, прямо из бочки. По куску мороженой колбасы. И за каждым запишет в тетрадку, сроду никого не забудет. Но честно, ее даже не проверяли, на слово верили. Вот мы тут же у магазина по стакану чистого хряпнем, снегом загрызем, знаете, в ладонях его сомнешь, снежок, – так вкусно хрустит! И в тайгу до самого вечера! Так что вы, Рустам Константинович, еще мне добавьте, покажу, как на Камчатке лесорубы пьют. Вы мне только второй стакан с водой дайте.

Тут произошла некая немая сцена, воцарилась полнейшая тишина, и на лице у хозяйки застыло растерянное изумление. Но хозяин тотчас дополнил мой стакан и придвинул ко мне второй, с водой; у него в глазах мелькнуло даже поощрение; сидевшая рядом с отцом Лилия, в отличие от матери, сидела совершенно молча, не вмешиваясь, улыбалась, хотя и у нее лицо сделалось слегка напряженным.

Рустам Константинович разбавил свой спирт водой; мы подождали, пока пройдет муть от реакции, и подняли стаканы. Теперь меня несло уже совершенно бесконтрольно; чокнувшись с хозяином, я выдохнул воздух, задержал дыхание, влил в себя стакан спирта, сдобрил процедуру двумя- тремя глотками воды. Ничего особенного не произошло, лишь по всему телу стала

разливаться, приятная, размягчающая теплота. Я невинно взглянул на оцепенело застывшую хозяйку дома.

– Боже мой, да вы еще и пьющий! – тихо ахнула она. – Вы погубите себя, свой талант, Петя!

– Пожалуй, – покорно согласился я. – А что можно сделать? Тянет, не могу противиться, силы воли, наверное, нет, такова, очевидно, судьба.

– Какие предрассудки! Рустам, друг мой, не смей, ты заболеешь! – попыталась восстановить равновесие Серафима Клавдиевна, но тут и Рустам Константинович, укоряюще пробормотав: «Ну, что ты, что ты, мой друг!» – поспешил с явным удовольствием выпить свою долю, отдышался, закусил, взял гитару, и они с дочерью очень стройно и душевно запели на два голоса романс про искалеченную любовь, про погасший огонек и про уютный задушенный сад, убранный цветами. Я, уже достаточно размягченный, слушал; в Хабаровск пришла очередная зима, со звонким морозом, с веселыми, пронзительными метелями, весело озорующими в улицах, переулках и во дворах, и мне вдруг до мучительной дрожи в сердце захотелось назад, в глушь тайги, под камчатское небо, на берег океана, засыпанный бесконечными валами черной, вулканической гальки, на берег, потрясающий воображение пронзительной своей суровой первозданной мощью и красотой, – такого я больше нигде в мире не встречал и не видел, потому что это было чувство первозданности молодости мира.

Я перестал слышать и гитару, и несильный, но удивительно приятный, мелодичный голос Лили; вот-вот должна была прийти вроде бы беспричинная тоска по неведомым далям и просторам, когда от невозможности раствориться в пространствах земли и неба становишься сам себе в тягость, и тогда в тебе просыпаются и оживают первобытные сумерки и голоса эпох; я боялся таких провалов и обрадовался, увидев перед собой добрую усмешку бабушки Лили.

– Я тебе чай принес, – сказала она. – Тебе надо чай кушать, вот бери, самый большой чашка. Чай тебе надо много кушать, я сахар много положила, пей...

– Спасибо, Марьям Шахимардаровна, – поблагодарил я, принимая большую чашку чая, и старуха осторожно и ласково погладила меня по плечу.

– Твоя – бедный, бедный, – пожалела она. – Тебе надо много чай кушать, больно ты худой.

Я только теперь обратил внимание на поразительное сходство бабушки и внучки – одни и те же глаза, один и тот же очерк лица, одни и те же черты, нос, губы, – я вдруг увидел Лириану в старости и невольно ошалело потряс головой.

– Что, Петя, что? Чай плохой? Давай горячий налью, – обеспокоилась старуха, и я уверил ее, что чай превосходный. Бабушка Лили, Марьям Шахимардаровна, была, пожалуй, самой мудрой в своей семье, до безумия любила внучку, ненавидела невестку, обожала сына; она была инстинктивно умна и пластична в отношениях с людьми; по вечерам читала Коран на арабском и пела татарские песни. В первом замужестве она была замужем за муллою и, как символ богатства, имела золотой самовар, но в революцию, боясь конфискации, самовар спрятали где-то вне дома, во дворе, и он на другой же день, конечно же, исчез; ловкие люди не переводились даже в самые бурные, обвальные времена. И сама Марьям Шахимардаровна, потрясенная пропажей драгоценного самовара, предусмотрительно рассталась с муллою; она была молода и красива и долго одна не оставалась. Невестка, стараясь придать своему дому большую респектабельность, непременно называла свекровь только по-русски «Марией Михайловной», но так как обе они были туговаты на ухо, между ними часто разыгрывались трагикомические сцены, и Рустаму Константиновичу, хозяину, мужчине, по-восточному непререкаемому владыке в доме и опять же плохо слышавшему после фронтовой контузии, приходилось часто выступать в роли третейского судьи.

После случая с питием чистого спирта, потрясшего Серафиму Клавдиевну до глубины души, я на другой или на третий день уехал в Благовещенск, но там с издательством ничего

не сладилось. Мне предложили унизительно нищенский гонорар, я отказался от договора и хлопнул дверью. Вернувшись в Хабаровск, я с неделю нигде не показывался, со зла засел за новую повесть, решил вышибить клин клином и писал чуть ли не круглые сутки; очумев, в один из морозных и вьюжных декабрьских дней вышел пробежаться по главной городской улице и попутно запастись немудрящим провиантом. На этой улице нельзя было пройти и ста метров, чтобы не встретить кого-либо из знакомых; и я, едва успев миновать центральный кинотеатр «Гигант», нос к носу столкнулся именно с Серафимой Клавдиевной. Поздоровались; она пристально окинула взглядом мое одеяние, длинное осеннее, порыжевшее от времени пальто, похожее на монашескую рясу, подбитое, как говорится, ветерком.

– Как вы легко одеты, – посочувствовала она. – Не боитесь простудиться?

– Привычка, – скупо уронил я, стараясь не дрогнуть ни единым мускулом на свирепом декабрьском ветру с Амура.

– А Лиля заболела, – сообщила Серафима Клавдиевна. – Вот уже с неделю...

– Я завтра приду к ней, – неожиданно вырвалось у меня после короткой паузы. – Передайте, пожалуйста.

– Вы, кажется, и раньше обещали позвонить или прийти...

– Я завтра приду, – повторил я, и новый порыв сухого, морозного ветра почти растащил нас в разные стороны, а на другой день я созвонился с Иваном Ботвинником, у которого в Хабаровске были хорошие знакомые во всех без исключения сферах жизни; мы съездили с ним в зимнюю ботаническую оранжерею, и к вечеру я предстал перед Лилей с охапкой рыжих роскошных хризантем – даже несгибаемая Серафима Клавдиевна ахнула и одарила меня растерянной улыбкой.

– Где же вы достали, Петя, такое чудо среди зимы? – не удержавшись, поинтересовалась она и заторопилась. – Идите, идите, она в своей комнате, ждет.

Дверь была приоткрыта, и я, стукнув, вошел; Лиля похудела и была бледна, то ли от болезни, то ли от ожидания. Она увидела хризантемы, и лицо ее вспыхнуло, оживилось; мы встретились взглядами. И, еще не сказав друг другу ни слова, поняли, почувствовали, что дальше нам предстоит идти вместе.

Потом был шумный, веселый, молодой Новый год, встречи стали чаще, и наконец месяца через два, в мартовский женский праздник, я на правах жениха остался ночевать; весь день, начиная чуть ли не с утра, шумели, по-дальневосточному веселились широко и щедро, и к вечеру меня совсем сморило; мне предложили отдохнуть в комнате Лили, на диване, но когда я часов в девять вечера проснулся, оказалось, что все мое обмундирование, вплоть до брюк и майки, постирано и сушится в ванной. Умудренная долгим житейским опытом бабушка-бабуся Мариам Шахимардаровна решила подтолкнуть события; ей явно надоело, что молодые никак не могут решиться на последний шаг, и она задумала по-своему все устроить. Узнав о случившемся, я засмеялся, повернулся на другой бок и вновь заснул; а утром к нам в комнату с Лилей, когда мы еще лежали, опять первой постучалась бабушка и стала целовать нас и поздравлять, вытирая глаза аккуратным платочком. В этом же году, в начале декабря, у нас родился первенец – Алексей, или Алексий – с гор вода.

Лиля оказалась талантливым редактором с безукоризненным вкусом, читала и деятельно правила первый вариант нового романа «Корни обнажаются в бурю». В Хабаровском издательстве вышли «Глубокие раны», книга была распродана мгновенно, и было решено переиздать роман, уже массовым тиражом. Старшие товарищи по литературному цеху, в том числе и тесть, стали поглядывать на меня с неким озабоченным недоумением, а в стране из края в край внедряли царственный злак – кукурузу и знаменитый кок-сагыз, призванный заменить собой каучуконосы, – хрущевская оттепель продолжала разрыхлять почву для губительного

рывка прямо в коммунизм.

## ИЗ НАСТОЯЩЕГО В ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ

Жизнь человека нельзя раззять во времени, – это один сплав, пусть обогащенный самыми различными, в том числе и весьма ядовитыми, примесями и добавками, и никто, даже целеустремленный человек, не может прожить, не вобрав в себя противоречий времени. Отмечая столетие со дня рождения Леонида Максимовича Леонова в Октябрьском зале Дома Союзов (31 мая 1999 г.), собрались, как обычно, самые рьяные говоруны из писательской братии, не пропускающие ни единой возможности для внедрения себя в общественное сознание. Но в этот же день утром умер Анатолий Степанович Иванов, и уже через день предстояли его похороны; о кончине старого друга и товарища я узнал только перед самым леоновским вечером, и у меня было нехорошо на душе. Ход жизни тек своим путем, сталкивая рождения и смерти, и с этим извечным порядком нельзя было поспорить, – для слепого бега времени были безразличны рушившиеся тысячелетние империи, глухое, подспудное соперничество рас и племен, мимолетные человеческие помыслы и страсти. Никто еще не постиг и никогда не постигнет тайну творящего космоса, смысл его леденящей бесконечности.

Когда-то я писал о творчестве Леонида Леонова статьи в газетах и журналах, ставя его дарование чуть ли не рядом с Шолоховым, но время шло и вносило свои коррективы, и в леоновских романах, в его образах и характерах начинали все больше проступать авторские схемы, его некая отдаленность от подлинно живой жизни; безукоризненно и даже изыскано красиво выполненная картина со временем начинала отдавать синтетикой, слабые и в самом начале запахи жизни выветривались и стали неощутимыми, бесцветными и здесь дело не мог спасти ни до предела отточенный стиль, ни замысловатые психологические конструкции, ни броские декларативные построения о добре и зле, о любви и смерти.

Занятно и грустно было наблюдать такую эволюцию, как бы внутреннюю схватку двух начал, двух противоборствующих миров, уравнивающих друг друга и составляющих одно целое; да, да, писатель большой, нужный, русский, говоришь ты себе, но тут же какой-то внутренний бес шевельнется в тебе и вкрадчиво спросит, что же здесь от русского и от русскости под ровной, стеклянной поверхностью, почему же ни одно, даже самое горячее сердце не защемит и не вздрогнет на протяжении десятков и сотен монотонных страниц и диалогов, и разве завершение всей жизни этого странного творца «Пирамиды» не его же «Русский лес», всего лишь опрокинутый в Зазеркалье вместе с Грацианским, только под другим именем, опрокинутый от беспомощности и страха как перед собственным уходом, так и перед подлинной жизнью с ее кровью, грязью, жестокостью, но и с ее божественными прозрениями и взлетами, с ее сжигающими страстями и свершениями? Ведь под такую лесную зазеркальную сень, затянутую нейлоновым сумрачным небом, не вступит ни одна человеческая душа, там никогда не прозвучит ни детского голоса, ни девичьей песни или оклика, – под нейлоновыми небесами никогда не вырастет съедобный гриб или сладкая ягода – там нормальному живому человеку просто нечем дышать.

На юбилейном вечере Леонида Максимовича Леонова выступали профессиональные патриоты, а некоторые по совместительству и глубоко законспирированные либералы; говорили те же, что и всегда; собравшиеся привычно слушали гладкие, уже много раз обкатанные фразы о России, о подвиге, о служении истине; ораторы старались перещеголять друг друга и особенно в отношении последнего труда Леонида Максимовича «Пирамида» – творения, как уже говорилось выше, совершенно непостижимого, в котором была предпринята попытка с начала и до конца осмыслить и объяснить бесконечность и ее природу, что уже само по себе есть



чудовищная ересь, вызывающая хаос и распад сознания. Кто может выдержать этот распад на протяжении почти двух тысяч страниц? Но записные ораторы ходили хитрыми кругами, и было ясно, что, как бы они ни старались прослыть очень мудрыми и проницательными, им не переплюнуть друг друга в словоизвержении. Один только Юрий Бондарев ограничился простой, хоть и романтической характеристикой самого юбиляра и природы его дарования и оказался в явном выигрыше.

И хочется воскликнуть: о Господи, и в самом деле чуток и правдив, страшен русский язык! Он мгновенно, едва кто-либо успевает произнести несколько слов, тотчас выявляет и своего, и чужого, друга или врага; стоит только прислушаться сердцем – и вы по двум-трем фразам тотчас определите, кто же перед вами в действительности.

И здесь, в Октябрьском зале, сразу, после первых же казенных слов ведущего, повеяло холодноватой прохладцей, никому здесь по-настоящему не было никакого дела до Леонова, его кричащих противоречий; все говорили только для самих себя; ни живого слова, ни проблеска, оригинальное все нахватано со стороны, и сибирско-бурятская скороговорочка Распутина лишь еще больше подчеркивала холодную, казенную лощеность записных ораторов, их отшлифованный в долгой карьерной гонке ораторский артистизм. Конечно, этого мастерства нельзя ставить кому бы то ни было в вину, всякий добывает хлеб насущный согласно своей природе и дарованиям, но слушать подобное столоверчение тоже тяжело, хотя и приходилось терпеть. И когда Ганичев, ведущий вечера, предложил мне выступить, я отказался. На юбилейном вечере нельзя было высказать открыто свои мысли о творчестве позднего Леонова, прихлынувшие в последнее время, да и неожиданная, как всегда, смерть Анатолия Иванова, о чем перед началом вечера сообщил председатель, свинцово придавила душу. Мы с Ивановым уже несколько лет не виделись, изредка лишь звонили друг другу, и вот теперь предстояли лишь похороны и, вероятно, бессмысленные, никому не нужные речи. Зачем? Что можно добавить к тому, что уже сказано усопшим в жизни? Леонид Максимович Леонов был художником совершенно иного плана, чем Иванов; вечно осчастливленный характеристикой Горького как талантливый, даровитый юноша, имеющий большое будущее, Леонов через всю жизнь пронес эту словесную медаль, пожалованную ему пролетарским гением. Оба, и Горький, и Леонов, всегда писали народ как бы сверху, как сторонние наблюдатели или даже препараты, у Анатолия же Иванова, несмотря на ряд натуралистических излишеств, привнесенных в его талант, пожалуй, сибирскими примесями, то есть неимоверно живучими присадками азиатчины, из страницы в страницу в его романах переливалась живая горячая кровь – художник чувствовал из самого народного чрева, он сам являлся народом, обретшим творческий голос.

Вот об этом я и думал, слушая высокоумные речи выступающих, – смерть вновь не только ставит точку, но и подводит итог.

Анатолий Степанович Иванов был связан в жизни со мной многими невидимыми нитями, мы с ним оказались ровесниками, были вынуждены шагать плечом к плечу во времени, в катастрофический, роковой для России двадцатый век, оба попали в самый эпицентр литературной борьбы, перебравшись почти одновременно на жительство в Москву, и оба оказались в самом раскаленном слое идеологических противоборствований времени. Он был крайне осторожен и недоверчив даже в отношении ближайших друзей – шло это, как уже замечалось, от его крутого сибирского характера, порождения географических особенностей сибирских условий – здесь тысячелетиями кипела борьба за выживание, нужно было или победить, или погибнуть, здесь нужно было, сжав зубы до хруста, вечно идти вперед, и все эти обстоятельства глубинно отразились в творчестве Анатолия Иванова, так никем еще и не осмысленного, не изученного, хотя бы приблизительно. Его народные сибирские типы

относятся к высочайшим достижениям в русской литературе XX века – это не те бескровные, почти бесполое тени, что бродят из рассказа в рассказ, из повести в повесть у Валентина Распутина, совершенно не осознающие, зачем они, и не понимающие, и, главное, не стремящиеся понять, куда себя приткнуть, при всяком подходящем случае, а то и без того, оглашающие пространства вокруг ахами и стенаниями, вызывающими, в свою очередь, стоны и слезы восторга и умиления у русскоязычной критики и прочих, зело либеральствующих элементов, в основном существующих за счет русского народа, у так называемых высших интеллектуалов и политиканов...

У Анатолия же Иванова в романах и повестях народ крепкий, здоровый, забрось его на необитаемый остров совершенно голого, он тут же довольно прилично оденется, дом себе выстроит, железа и золота накопает, жену и на безлюдье отыщет и умыкнет, детей народит. И вновь закипит в пустынном досель месте деятельная народная жизнь, в самых стратегических местах вырастут шумные города, возвысятся храмы, корабли с товарами поплывут во все концы мира.

Такая литература нашим правящим фашиствующим либералам ни к чему. Она для них смерть, она мешает им подавить волю и сознание народа окончательно, а без этого ни в каком ярлыке на вечное господство над миром нельзя быть уверенным.

Иванов закончил свой жизненный и писательский путь эпопеей «Вечный зов», несмотря на явные просчеты и недостатки, особенно во второй, военной части, но получившей второе мощное дыхание в телевизионном многосерийном прочтении; Леонид Леонов закончил долгое, почти вековое странствие многотрудной «Пирамидой», книгой странной, обращенной больше в потустороннюю ипостась жизни, если она есть, по своей мрачности и безысходности напоминающей знаменитую «Книгу мертвых» из шумерских времен. Не всякий рискнувший войти в леоновскую «Пирамиду» может благополучно и безнаказанно из нее выбраться; здесь от реальной, живой жизни уже ничего не осталось; здесь возникают и рушатся миры уже за гранью постижимого.

## **ШАГ В ПРОШЛОЕ**

В жизни человека ясно просматриваются два периода, один – движение в гору, а второй – обратно, к подножью достигнутой в свой расцвет высоты, к своим истокам.

### **05.07.67 г.**

Можно понять и лишь по-хорошему приветствовать, что в литературу приходят все новые и новые писатели с высоким уровнем профессионализма и даже мастерства и самый заурядный бытовой факт могут превратить в рассказ или повесть. Но уместно подумать и о том, что, когда тульский Левша подковал блоху, это было ново и интересно и было, несомненно, искусством, а вот когда блох в России стали подковывать сплошь да рядом и, самое главное, когда это уже угрожает стать самоцелью (изячно подковать именно блоху, а не слона, допустим), это превращается в заурядную профессию, – жизнь всего вернее постигается через бойцовские, действенные качества человеческого характера и обуславливает глубинные страсти и борьбу. Сказанное прежде всего относится, надо думать, к нашей молодой литературе – сколько можно плодить хныкающих старух и замшелых философских старичков на завалинках?

Кстати, термин «молодая» в отношении литературы выдуман заинтересованной в усилении своей роли и значения критикой, не более того. Литературу невозможно делить по возрастному признаку.

**10.07.67 г.**

Приехали с Лилей в Косицы, к моей матери. Во время родственного застольного разговора вошла средних лет (на вид) женщина, нищенка, с ходу объявила, что она тоже не прочь пообедать, и скинула с себя у порога свою суму.

– А тебя, миленький, видела во сне нынче, – сказала она хозяину, моему брату Володе, странно, непроизвольно двигая левой рукой.

Оказалось, что это полупомешанная из Хинеля, единственно оставшаяся от племени побирушек-странников – до войны их было много.

Ее усадили, накормили, и она, неизвестно чего пугаясь, долго рассказывала про свой сон.

Вечером были в гостях у Сергея, моего двоюродного брата, очень хорошо посидели, много вспоминали и смешного, и грустного, и страшного, тягостного; подобное несвязное возвращение в прошлое всегда бывает, когда сходятся родные, близкие, много лет не видевшиеся люди. Потом махнули на все рукой, выпили еще и пошли танцевать. Володя, не в силах остановиться, еще успел рассказать, как в эвакуации (лето 43-го, Курская дуга) он пошел молотить и у него чуть не украли мешочек с зерном. Одна кулачка привезла на мельницу целый воз мешков с пшеницей и мешочек задремавшего от усталости какого-то мальчугана завалила, вроде бы невзначай, своими мешками. Вторая женщина, тоже пришедшая смолотить несколько фунтов зерна, заметила возмутительное мародерство, сказала мельнику, и они вдвоем, пожалев плачущего мальчика, раскидали кучу мешков и обнаружили пропажу.

**14.07.67 г.**

Вчера с Лилей ездили в Севск, хотели разыскать мою сошкольницу Нину Останкину (она училась со мной в Севске с первого по шестой класс и сейчас вроде бы работала вторым секретарем Севского РП). Оказалось, что ее перевели в Мглинский район на должность председателя райисполкома. В вестибюле здания райкома стенд – «Наш родной город – Севск». В центре – в красках «Здание Севского райкома КПСС», потом схема – «Движение автобусов по г. Севску» с одним автобусом на фотографии, и еще «Севская башня с курантами» – бывшая колокольня Успенского собора, разобранного уже после войны на кирпичи. Никак не могу понять людей, стремящихся построить новое, варварски разрушая бывшее до них, наступает момент, и они начинают чувствовать свою нищету, начинают оправдывать себя, выдумывают нечто пошлое и невкусное, вроде того же соцреализма.

\*\*\*

Подслушал незнакомое слово – «окулилось», то есть сделалось как куль.

**15.07.67 г.**

Володя рассказал мне забавный случай из жизни Феньки Хромой, женщины, по каким-то непонятным мне причинам считавшейся выдающейся личностью в нашем поселке Косицы. Еще одна, не менее замечательная, поселковая знаменитость по прозвищу Хараон (Фараон – уж не знаю, откуда и как залетело экзотическое словцо в наш захолустный орловский уголок) ладил у Феньки Хромой прогнивший накат в погребе и после работы говорит ей хитровато:

– Я, Феона Алексеевна, с тебя денег не возьму, ты понимаешь, я человек совестливый... война, понимаешь, все такое... Давай, Феона Алексеевна, натурой... – Она поняла.

– Э-э, любый мой, Михал Михалыч, ничего не выйдет, не пробьешь. Я уж тринадцать лет как нераспечатая хожу. Если б пораньше, а то к чему зря тревожиться... Бери уж деньгами, хоть в две цены.

И еще о ней же.

Приехал из Ленинграда в отпуск еще один наш односельчанин Сергей Мотовилин, пришел к Феньке Хромой в гости в изрядном подпитии, у нее добавил еще и пошел, как говорится, на приступ. Она и здесь ни в какую, стала звать на помощь, а вдобавок попробовала крепость головы соискателя увесистой бутылью из-под самогона. Тот выскочил на улицу и кричит на весь поселок:

– Совсем одичала здесь, полоумная, никакой управы на тебя нет! Гагарин вон уже в космос слетал!

**17.12.67 г.**

– Ты не войдешь в Малый театр! В Малый ты не войдешь! – кричал мой тесть Рустам Константинович – и бац обидчика по голове свернутой в трубку афишей.

Это было во время гастролей Хабаровского театра драмы в Москве, во время ссоры моей тещи Серафимы с директором театра Георгием Александровичем Сащенко, когда тот на афишах, где сорежиссером спектакля «Ярость» значилась и моя теща, собственноручно вычеркнул давно ненавистное ему имя.

**17.01.68 г.**

Приехал в Москву. Получил квартиру – три комнаты. Слесарь Семен (лицо зело припухшее) поставил краны, наладил плиту.

Пока живу на корпункте «Правды», тоже – три комнаты, шесть коек. Жду, пока придут вещи из Орла и можно будет перебраться к себе. Работать не хочется, хотя сегодня с утра и думал о рассказе.

**01.03.68 г.**

Черчилль о Хрущеве – он, Хрущев, хотел перепрыгнуть пропасть в два приема.

О человеке, у которого в речах мало смысла, у него же в котелке давления не хватает, а чтобы его создать, необходимо много думать, где же родиться умной мысли, если в башке пусто от непрерывной болтовни?

Все великие люди (Сталин, Черчилль, Моисей, Александр Македонский, Наполеон, Ленин) сходны в одном: внешняя скромность, умение как бы раствориться в народе, слиться с ним и в то же время бешеные, сатанинские страсти, бешеное честолюбие.

**01.03.68 г.**

*Даниил Гранин*

*(Совещание писателей в Ленинграде на военную тему)*

«Хотелось, чтобы на этом совещании присутствовало больше писателей, занимающихся военной темой не первый год. Поэтому мы постарались сделать наше совещание максимально узким и на самом высоком уровне, без присутствия корреспондентов. Должен быть откровенный, прямой разговор. Мы, ленинградцы, счастливы, что такое совещание проходит у нас, наш город заслужил это своей боевой славой».

*Вадим Кожевников*

*(вступительное слово)*

«Говорят об усилении напряжения на земле (США, Западная Германия). Почему обрели высокую долю бессмертия произведения наших классиков, создавших первые романы о гражданской войне? Мне кажется, что такой вопрос можно отнести и к произведениям о ВОВ. Свершается большой коллективный подвиг наших литераторов на этом направлении. Решается задача даровать людям новые духовные качества. Наша история шла наряду с художниками.

Литераторы совершили двойной подвиг: подвиг исторического открытия и художественный. Ценность мемуарной литературы важна для каждого литератора. Задача: новый качественный подход к военной теме. Понимать, что тема нашего подвига состоит в исторической протяженности. Война не была окончена в 45-ом году в Берлине, историческая ответственность с народа не снята. Сущность национального характера советского народа (!) должна выразиться подобно Кургану памяти погибших героев в Белоруссии».

*Виктор Чалмаев*

«Критикам приводится играть роль затравщиков. Этот вопрос не занимает должного места, а зря. Надо вспомнить о славной традиции, которую имеет военный роман. Романы об армии – это наиболее яркие народные характеры. Как развивался военный роман, выросший на традиции 30-х годов? Рассказ Шолохова, творчество Ольги Кожуховой, Ананьева, Симонова, Быкова, Бондарева. Плацдармы Бондарева, Быкова, Астафьева – без них нельзя освоить военную тему, это не только лирическая проза, это глубокое постижение событий, обращение к традициям Толстого – нельзя упрощать войну».

**02.03.68 г.**

Говоря о военной романистике, нельзя, на мой взгляд, вырывать ее из общего контекста литературы. О романе много спорили и спорят, да и что такое, в самом деле, роман?

Вчера выступавшие товарищи критики, Чалмаев и Нинов, особенно последний, очень грамотно, если можно употребить термин первых лет революции, именно грамотно и ловко проанализировали литературный процесс, как бы разъяли его на составные части, тогда как ничего, ни повесть, ни рассказ, ни роман, нельзя вырывать из общего литературного процесса и, отдельно рассматривая, делать далеко идущие выводы. Подлинная литература – прежде всего подлинное состояние и зеркальное отражение духовного состояния самого народа, а роман же есть отражение движения широких народных масс как бы изнутри самого себя. Но романы-трагедии о противостоянии народов и рас весьма редки. Само понятие «военный роман», на мой взгляд, ложно и неправомерно; армия всего лишь составная народа, война же – дело движения и напряжения сил всего народа сверху и донизу, до самых сокровенных глубин, до включения в дело всех его физических, исторических и духовных сил и ценностей.

Разумеется, каждая война имеет свою специфику. Возьмем два романа – «Война и мир» и «Тихий Дон». О чем они? Неужели только о войне? Вряд ли кто-либо станет это утверждать серьезно. Перед нами две грандиозные эпопеи о духовном состоянии народа на определенный исторический период, их можно сравнить лишь с вулканическими толчками или даже землетрясениями огромной духовной силы на переходных этапах истории, не только и не столько дающие направления художественному развитию последующих времен, но определяющие развитие самого национального духа народа.

Хотелось бы поразмышлять и о корнях истинно народных в тех книгах, где так или иначе повествование соприкасается с ратными делами народа. Допустим, два романа – «Черные люди» Вс. Ник. Иванова и «Война за океан» Н. Задорнова – добротные, многослойные произведения о становлении русской государственности, о естественном движении самых широких народных масс на Восток. Возьмем для большей убедительности эпопеи А. Толстого «Петр I» и «Хождение по мукам» из другой эпохи о движении народных масс к своему новому качеству, и мы увидим, что во всех названных произведениях, как и во многих других («Война и мир», «Тихий Дон»), народ не только является в страдательном своем состоянии, но всегда характеризуется и является ярким героическим началом. Вдумавшись, начинаешь и сам осознавать, что нравственное героическое начало, проявляемое самим народом, и есть неопровержимое доказательство правоты своего дела, и без этого никакое поступательное движение самого народа немыслимо.

И не только широко известные ныне героические характеры, такие как князь Андрей, Иван Хабаров у Вс. Ник. Иванова, Невельской у Задорнова, Левинсон у Фадеева – яркие героические личности, осознающие или хотя бы внутренне прозревающие свое предназначение в грандиозных событиях, но ярко героичны и самые широкие безымянные массы народа – вот истинная отличительная черта, безошибочный признак художественных полотен, как бы рожденных праведными делами самого народа. И тем более характеризуется героическим началом советская литература, вернее, все та же русская литература, рождаемая в процессе почти непрерывных острейших схваток на пути становления новой советской государственности, схваток не только прямо военных, но схваток во все более усложняющейся борьбе идей, борьбе, казалось бы, бескровной, но не менее трагичной и жестокой.

Ни одно дерево не может расти, тем более цвести и плодоносить, если почему-либо у него начинают умирать корни. Героическое начало нашей современной русской литературы (советский период) уходит своими корнями к самым глубинным истокам истории русского народа, выросшего в конце концов в подлинного исполина и создавшего могучее, многонациональное государство совершенно нового социального звучания.

### **17.03.68 г.**

Все записи за последние пять дней уничтожил, все это мелко и косноязычно. Какой-то затор...

Сегодня на ночь опять сделал Кате масляный компресс, температура держится около 37°, кашляет. Не знаю, правильно ли я ее лечу.

Шестая ночь не идет. Прочитал аксеновскую «Бочкотару» в «Юности» № 3. Смех и грех, отсутствие знания реальной жизни, очевидно, и порождает такие приемы – во что бы то ни стало быть оригинальным. Думаю, на этой «Бочкотаре» Аксенов, если и был когда-либо, как писатель, живым, просто протянул ноги и вряд ли воскреснет, сколько бы его искусственно ни раздували.

### **15.06.68 г.**

Выхожу из автобуса и прямо перед собой вижу молодое лицо мужчины восточного типа, глаза черные, волосы тоже, встрепаны, стоят чуть ли не дыбом.

– Чепуха, – говорит он возбужденно. – Форменная чепуха, – продолжает он, глядя на меня и почему-то обращаясь именно ко мне, хотя я твердо знаю, что вижу его в первый раз в жизни. – Говорят, секс от разных юбок, коротеньких, совсем никаких, от книжек развратных идет, ерунда! Секс начинается здесь, в транспорте! В автобусах, в метро, в троллейбусах. Понимаешь, ко мне все прижимаются: женщины, девочки, мужчины! Я не могу, я возбуждаюсь! Это невыносимо, я не могу ездить в общественном транспорте!

– А такси? – невинно спрашиваю я.

– На такси у меня нет денег! – негодуя кричит он, уходя. Но, однако, еще раз оборачивается: – Я же не деревянный! – опять кричит он. – А денег нет на твое такси!

### **16.06.68 г.**

Правду моих книг поймут и примут не скоро, она наглухо укрыта, казалось бы, под повседневной обыденностью; я ни в левых, ни в правых, я стараюсь быть там, где чувствую истину.

### **04.07.68 г.**

9-го лечу в Хабаровск от «Правды», Лиля уезжает в Орел, к детям. Дал телеграмму с анонсом «Шестой ночи» в «Сиб. Огни». Думаю сделать из этого рассказа небольшую повесть, ввести любовную линию Наташа – Эдик. Почти десять дней работал над статьей об В. Алфееве (криогенная электроника). Очень интересный человек и яркий ученый, умный, но зажат

намертво конкурирующими группами, ведомствами и соперничающими с ним лично «друзьями». Везде одно и то же. Как и в литературе, как и везде. Очевидно, это свойство жизни. Кажется, провалилось его выдвижение на Госпремию.

### 29.11.68 г.

Прочитав очередную статью Николая Родичева, Константин Иванович Поздняев, главный редактор «Литературной России», говорят, в гневе сорвал с себя черные сатиновые нарукавники, в которых всегда сидит, приходя на работу в свой кабинет, и впал в еще больший гнев. Но вообразить себе это весьма трудно – гневного Поздняева. Невозможно, такого в реальности не бывает.

Вчера закончил переработку романа «Корни обнажаются в бурю», сдал на машинку.

### 10.12.68 г.

*«Сумерки идолов». Фридрих Ницше, 1907 г. изд.*

Фридрих Ницше, уже близкий предтеча и провозвестник фашизма, прежде всего идейный конструктор т. н. сильной личности, исключительной личности, откуда уже рукой подать до «сильного, исключительного» народа или даже расы. Фридрих Ницше, разумеется, себя относил, судя по его оценкам, только к высшему разряду.

В «Исправителях человечества» есть глава 3, где истолковывается «Закон Ману», разделивший людей на касты от «жрецов» до «чандал» – не племенных людей, людей-помесей, которым, по «Закону Ману», разрешалось есть только лук и чеснок, пить только из болота, да и то из следов животных; им запрещалось мыть свое белье и мыться самим, запрещалось хоть чем-либо помогать при родах женщинам-чандалам и т.д. Им даже запрещалось писать слова слева направо и пользоваться для писания правой рукой, потому что даже это является неотъемлемой привилегией, которая остается за «добродетельными» людьми расы.

Далее сей добродетельный проповедник и еще более добродетельный гуманист комментирует:

«Эти предписания довольно поучительны: в них мы имеем арийскую гуманность в совершенно чистом, в совершенно первоначальном виде, – мы узнаем, что понятие «чистая кровь» является противоположностью «невинного понятия».

И далее:

«Христианство, имеющее иудейский корень и понятное лишь как растение этой почвы, представляет собой движение, противное всякой морали распложения, расы, привилегии, это антиарийская религия *par excellence*; христианство – переоценка всех арийских ценностей, победа ценностей чандалы, проповедь евангелия нищим и низменным, общее восстание всего попираемого, бедственного, неудавшегося, пострадавшего против «расы», – бессмертная месть чандалы, как религия любви...»

И далее:

«Ни Ману, ни Платон, ни Конфуций, ни иудейские и христианские учителя никогда не сомневались в своем праве на ложь. Они не сомневались в совсем других правах...»

Из этих коротких умозаключений исправление человечества усматривалось в истреблении слабейших или «неполноценных»; «Ветхий завет» у Фридриха Ницше приобретает несколько обновленную суть; идейная подкладка современного фашизма готова, и Гитлер вскоре мастерски примерил ее к шкуре немецкого народа, объявив его «арийским», ибо любой народ можно объявить арийским, если это подтвердить промышленной и военной мощью. У Адольфа Шикльгрубера попытка получилась, и потрясенная планета запомнит ее надолго. Но время идет, и любителей чистоты «расы» не отбавляется, очередь в фюреры уже выстроилась, и довольно внушительная.

Особенно обращает на себя внимание то, что так называемое учение Ницше – это прежде

всего попытки разгрома всей предшествующей культуры человечества, правда за редкими исключениями в лице Гёте, Гейне, Платона, Дионисия, Достоевского. И еще учение Ницше, при всей своей маскировке, – явно классовое. Наполеон, Бисмарк, Цезарь – вот арийцы духа, представители высшей расы, люди, в руках которых была сосредоточена мощь политической, финансовой, военной власти; и Ницше, этот «сверхчеловек», смиренно кланяется им; ничего другого он не нашел и не мог найти, потому что живая жизнь являет факты и примеры совершенно иного рода.

Само знакомство с сочинениями Ницше может вызвать в наше время самые неожиданные чувства и мнения, от отвращения до обожания и преклонения; но нельзя не отметить, что очень многое из идей Ницше воспринято к действию и присутствует открыто или тайно в настоящее время в тенденциях правящих мировых элит. Вопрос? Да, вопрос, на который еще не один раз предстоит ответить человечеству.

*«Набеги несвоевременного»*

*(«Сумерки идолов»)*

О гении:

«... значит не понимать великих людей, если смотреть на них с жалкой точки зрения общественной пользы. Что из них не умеют извлечь никакой пользы, одно это само, быть может, относится к величию...»

Ответ?

**07.01.69 г.**

Вчера ездил на встречу с рабочими на завод Владимира Ильича. Было еще несколько писателей. Владимир Попов («Сталь и шлак»), песенник Илья Котов («Марш высотников»).

Директор завода после встречи сказал, что рабочих очень не хватает, за одного хорошего токаря можно не глядя двух инженеров отдать. Говорит, что старые рабочие уходят на пенсию, и конец, никто на их место уже не идет. Сыновья метят выше и выше, а работать некому. Начинается тот же процесс, что и в деревне: все учатся, и нехорошо, когда потолка некому побелить, шутит директор.

Надо бы съездить к нему отдельно, потолковать поглубже.

**08.02.69 г.**

Вчера в ЦДЛ выступал Месяцев Николай Николаевич, рассказывал о проблемах и делах на радио и телевидении. Оказывается, в Комитете только в Москве работает семнадцать тысяч человек; за один день используют текста на 380 газет типа «Известия». Высказывал интересные вещи. Так, например, поведал о том, что и в моих статьях раньше было: битва перешла в сферу знаний, идет сражение за знания, за технологии. Говорил, что наша информация очень сильно отстает из-за системы согласования – пока, мол, согласишься, информация уже устарела, а у новости уже борода выросла до пояса. Рассказывал об электронной машине четвертого поколения в Японии (она арендована США за 40 миллионов долларов в год). Таких машин четыре в мире, с ней можно разговаривать, как с человеком.

Еще поведал, что готовятся запустить такой спутник, который может передавать изображение прямо на телевизор – здесь кто кого обгонит.

**17.05.69 г.**

Наблюдал интересную сценку. Напротив Колонного зала Дома Союзов на противоположной стороне улицы стоит инвалид на одной ноге. Очевидно, приезжий, крестьянин – протез деревянный, самодельный, одежда грубая. А из Колонного зала выходят идеально одетые особи



в черных костюмах и белых пластронах. Люди все солидные, ухоженные, упитанные, – инвалид на одной ноге и на деревяшке, твердо упершись ее истертым тупым концом в асфальт, очень внимательно их разглядывал. Интересно, что он в это время думал?

\*\*\*

В трамвай вошла старуха, дряхлая, в каком-то странном чепце, но, пробивая билет, так стукнула по компостеру, что в железе что-то глухо крикнуло и даже застонало, пассажиры заулыбались, а старуха сердито на них поглядела.

\*\*\*

Бабушку Марьям зовут пить чай. Она переспрашивает:  
– Чай пить? Сейчас, сейчас, вот пойду зубы возьму.

### **01.06.69 г.**

Вчера с утра суетились, собирались ехать к Леонову – ему 3-го мая исполнилось семьдесят лет. Мы с Ивановым поехали покупать красную ленту и цветы, затем поехали к Чивилихину, где был назначен сбор.

Там уже были Ганичев, Солоухин и Анатолий Никонов; выпили чаю и двинулись дальше. В Переделкино к нам присоединились Алексеев и Стаднюк.

У Леонида Максимовича уже были гости, кто-то из ЦК; он проводил их и, вступая в разговор с нами, спросил, оптимисты ли мы. Он стал говорить о Китае, упомянул о том, что они недавно вещали по радио, что оставят в России только женщин до тридцати лет и они будут рожать от китайцев детей, таких же сильных, как русские, и таких же красивых, как китайцы. Затем Леонид Максимович переключился на японцев и очень их хвалил.

– Великолепный народ, – подчеркивал он. – Не имеют ни руды, ни нефти, ни леса, покупают тонну руды за пятьдесят копеек, а вывозят промышленных изделий из нее на сотни тысяч. Когда они проиграли войну, то сотни тысяч их пришли к дворцу императора просить прощения именно за то, «что они проиграли войну». А несколько тысяч офицеров умирали вокруг дворца, сделав себе харакири. Сзади у каждого из них стоял адъютант; убивающему себя нужно было по правилам перерезать себе селезёнку, желудок, а затем печень. После этого адъютант спрашивал: «Вам помочь?» – «Я сам», – отвечал офицер и тем же ножом перехватывал себе горло. И вообще, – продолжал развивать тему Леонов, – если Япония объединится с Китаем, то будет совсем плохо.

Кажется, Солоухин возразил, что вряд ли это возможно, что у китайцев и японцев различная психология.

– Отчего же нет? – возразил задиристо Леонов. – Возьмите такое: встретились китаец и японец и видят, что перед ними лежит большой жирный медведь, северный, ленивый, под себя делает. Отчего же его не прикончить и не полакомиться? А потом Мао может просто послать десять миллионов и сказать: вы будете все убиты, знайте об этом. Ваше дело быть убитыми и вонять, пусть закапывают. А потом он пошлет двести миллионов: умрите и воняйте. А китайцы умеют вонять.

Вскоре мы перешли за стол, налили водки, и Стаднюк принес полуметрового бронзового солдата на мраморной подставке – мы купили его вскладчину Леонову в подарок.

Тост произнес Миша Алексеев, сказал, что торжественный день всем придаст смелости явиться к живому классику и что мы рады и счастливы жить в одно с ним время.

Леонов рассказал о том, что он, переделав в своё время пьесу «Метель», был потом где-то на приёме, где присутствовал и Хрущёв.

– Хрущев смотрит на меня, – рассказывал Леонид Максимович, – и сетует на то, что некоторые литераторы, мол, пишут не только пьесы на запрещенные темы, но еще и переделывают их, обостряя. А такое, мол, при Сталине было категорически запрещено и на девяносто пять процентов запрещалось вполне обоснованно и правильно.

А я гляжу на него, – продолжал Леонов, – молю: родненький мой, имя автора назови, имя, ты меня в одну секунду прославишь, богачом сделаешь! Ну, назови! Нет, не назвал. На ходу обобрал до нитки. Пастернака он в одно мгновение озолотил, а на меня потратиться пожалел... На другой день у меня бы по всей Европе издания завертелись...

Все внимательно и почтительно слушали и поддакивали, особенно Солоухин, склонный, кажется, к такому образу мыслей; мне же стало несколько неуютно. А рассказывал ли Леонид Максимович кому-нибудь этот случай при Никите, в хрущевскую эпоху? Но мало ли что придет на ум в дружеском застолье... Вообще, писатели – народ особый, и никакой меры для них не существует. Чего бы, кажется, не хватало при жизни Леониду Максимовичу?

\*\*\*

Да, в природе свое летоисчисление. «Для вас – века, для нас – единый миг». Броуновское движение захватывает всё больше внешнюю и внутреннюю жизнь России, все слои ее населения: от олигархических кругов и опекающих их президентов до объединяющихся в преступные сообщества малолетних беспризорных и все увеличивающихся количественно специфических прослоек гомосексуалистов, наркоманов и бомжей; и остаться в стороне от этого хаотического, но закономерного движения не удастся никому, будь он хоть семи пядей во лбу, даже если ему удалось, пользуясь поднявшейся в природе мутью безвременья, подгрести под себя миллиардные капиталы.

\*\*\*

В Центральном Доме литераторов в Большом зале впервые вручаются премии «Сыны России», приуроченные к празднованию дней Александра Невского, и я, как председатель жюри, выступаю с небольшой речью, затем вручаю дипломы лауреатам – прозаику Дегтеву, поэту Сергею Каргашину и за публицистику – Станиславу Куняеву. И в денежном отношении премии для наших изголодавшихся литераторов солидные – две тысячи долларов; у нас теперь ведь все исчисляется в долларах, и неважно, как это сочетается с национальной гордостью, с историей и с великими реалиями прошлого. Александр Невский и доллары? Но на то и броуновское движение, чтобы всё спутать и смешать, и превратить в хаос; никто ничему не удивляется, зал полон, страсти кипят.

Перед началом вечера Стас сообщил мне, что один из двух моих рассказов из современной жизни, которые я передал в его журнал, ему не нравится:

– Знаешь, можно один напечатать, а второй... Не сердись, понимаешь, мне так осточертели все эти российские ужасы действительности, вся эта грязь... Читать уже больше не могу. Ты не обижаешься?

Я взглянул на него, почти безразлично пожав плечами. Рассказом больше или меньше, какая разница? Да и как можно обижаться на поэта с такой утонченной, эстетически нежной душой, не переносящей грязи жизни?

Правда, рассказ был о нравственном подвиге русского патриота, сумевшего перешагнуть невозможное для себя, но это, разумеется, ничего не значило – и кровь в рассказе была, но кровь очищения жизни от скверны.

Литературный процесс в России, я бы сказал, приобрел односторонний характер; все печатные органы, газеты, журналы, издательства были, как говорится, прихватизированы

ловкими людьми и превратились в клановые или даже семейные предприятия, – литературу на таких литпредьяниях, как правило, приспособливают к своим клановым интересам. Как сказал в недавнем разговоре со мной самобытный писатель Валерий Рогов, никто никого сейчас к своей кормушке и на десять верст не подпустит; каждый работает на собственный интерес. Журнал «Москва», допустим, превращен его главным редактором в закрытую зону, а первый заместитель главного редактора «Нашего современника» Геннадий Гусев тоже к своим зернышкам никого не допустит, самому бы хватило наклевать. Так и в других местах.

И действительно, в литературе периода перестройки явно наметились определенные литературные группировки; говорить о буржуазно-сионистском крыле литературы нет смысла, там все понятно и без разъяснений, кто кому горло перервет, тот и прав. Но броуновское движение захватывает и патриотическое крыло – прохановское, ганичевское, куняевское, бородинское, в последнее время и бондаревско-ларионовское, направления или, точнее, группировки объявляют себя каждое главным, народным. И кое-кто, разумеется, возводит себя в мученический сан патриотов, бескорыстных, русских, вопиет о своей жертвенности во имя России и русского народа; многие, на глазах обуржуазиваясь, торопятся урвать свое, не отстать от времени, и это стремление приобретает иногда трагикомические формы – писатель ведь тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Куняев том за томом выдает «на-гора» свои «Мемуары» – исследования и свидетельства ушедшей эпохи, увы, не удержавшись от искушения выдвинуть себя на первое место в борьбе с сионизмом, якобы еще в советские времена. О-хо-хо, тогда и самые простые слова «еврей», «русский», не говоря уже о синонимах «жид», «великоросс», были под цепким идеологическим запретом...

Но, стоп? Пожалуй, здесь стоит задержаться и обратить внимание на один прелюбопытнейший поворот в поведении людей, в основном людей творческих, связанных с идеологией и политикой. Прежде всего именно ими стали страдать модной болезнью раздвоенности сознания и души – думать одно, говорить другое, а делать третье, и тем самым изыскивая для себя возможность быть сразу в двух, трех, а то и больше взаимоисключающих друг друга ипостасях; по-ученому это было бы можно определить как своеобразный дуализм шиворот-навыворот, а по-народному и того понятнее – ласковое теляти двух маток сосет. Творческие личности быстрее и острее других чувствуют перемену политической погоды. Это естественно и вполне закономерно, что именно в творческой среде любое шевеление воздуха и вызывает самые удивительные, самые противоречивые движения, и все они законно направлены прежде всего на собственное выживание, а значит, на приспособление к изменяющейся среде. Любая живая жизнь агрессивна, а человек, да еще творческий, тем более; ему тем более не хочется упустить из наработанного в прошлом и в то же время хочется не промахнуться и в будущем. Закон же высокого искусства, высокой литературы един – только правда, в том числе и о самом себе.

Станислава Куняева я знал давно, еще задолго до его назначения главным редактором «Нашего современника»; всегда он слыл патриотом, вольнодумцем и правдолюбом. Возглавив «Наш современник», журнал определенно патриотического, почвеннического направления, Куняев получил возможность наконец полностью реализовать себя и как патриот, и как общественный деятель, реализовать свои идеологические воззрения и пристрастия.

И что же? Вот тут-то началась чересполосица, которой до этого в «Нашем современнике» никогда не наблюдалось.

Именно при Куняеве в «Нашем современнике» из номера в номер публикуются утомительные сочинения Солженицына, а на подвёрстку – слезливые непротивленческие рассказы и эссе наших классиков, якобы из русской действительности и народной жизни. Они словно ещё раз подтверждают убеждения дутого нобелевца в отношении русского народа и его

национального характера, одним из основных природных свойств которого, по Солженицыну, является едва ли не врожденное мазохистское стремление к беспросветному рабству.

Затем наступил период печатания леоновской «Пирамиды» – в самый разгар ельцинского палачества над русским народом. Тоже своеобразный признак политического дуализма – занять огромные печатные площади заоблачным философствованием, в котором сам автор запутался с первых же страниц. Но при чем же здесь распятая Россия, её истинные свершения и муки? Никто не спорит, Леонид Максимович имел полное неотъемлемое право написать и напечатать все им написанное, но его личная попытка понять бытие, жизнь и смерть как продолжение жизни в каком-то ином ее выражении, уже давно была предвосхищена и обоснована во многих мифологиях и религиях, в гораздо более понятных и близких народу формах...

Непрерывно печатаются и туманные мудрствования еще одного гения, вызревшего в недрах «Нашего современника», Вадима Кожинова о судьбе и значении еврейства в русской истории и жизни, и все с неуловимым положительным знаком данного сожительства. Быть может, это и соответствовало моменту, и было актуальным, но невольно возникает вопрос: а почему обходятся далеко стороной конечные результаты столь близкого сердцу Кожинова сожительства?

\*\*\*

Типы на изломе тысячелетий появляются в удивительной российской жизни поражающие воображение, никакому Гофману или Гоголю с Достоевским за ними не угнаться своей, даже гениальной фантазией. Грядет подлинная революция в способах постижения человека и его души, но не будем отчаиваться, авось, что-нибудь доброе и вечное и проклюнется.

С другой же стороны, если спокойно и объективно посмотреть на происходящее в России, то видишь: идет процесс очередной смены социальной формации, и в нем отдельный человек – песчинка, будь он хоть самого превосходительного о себе мнения, его жизнь и усилия равным счетом ничего не значат. Ну, почему бы и не приватизировать товарищам-господам, оказавшимся в подходящий момент в руководящем кресле, журналы, газеты, издательства, если всё вокруг растаскивается и расхватывается, почему бы Распутину не взять у Солженицына двадцать пять тысяч «зеленых», если другие хапают неизмеримо больше, и почему бы Ганичеву не похвалить его за это, если сам он давно принял условия новой социальной игры. Ну, возьмут другие, и в любом случае, куда более недостойные. Плетью обуха не перешибешь, а жить-то хочется, и хочется жить хорошо, родным и близким помочь, да и на черный день, если он случится, неплохо кое-что отложить.

**05.04.2000 г.**

Вчера Распутину вручал премию своего имени Солженицын. КПРФ получила очередной урок. Похоже, у наших противников появляется новый яркий лидер – в их стан перебегает В. Распутин. Наконец его истинная суть выявилась окончательно.

Валентин Распутин, образы которого всегда маргинальны, всегда обитают на окраинах жизни, но который сам всегда, тем не менее, ухитрявшийся держаться в самом центре внимания общественности, обрел наконец-то свое истинное место и лицо – сама жизнь и борьба вытолкнули его в окраинную зону, в которой в любом обществе скапливается пограничный, разрушившийся, исчерпавший себя или не нашедший места в созидательной жизни человеческий материал, в ту зону, откуда вышли и его герои; им чуждо созидательное стремление каждого нормального человека творить, строить, а не разрушать.

Благодаря анти- и псевдонациональной критике, поставившей Распутина и подобных ему писателей во главе русского литературного национального процесса и утвердившей его там как

общенационального лидера, даже как совесть нации, он получил всё возможное и невозможное от стороны патриотической, даже КПРФ упорно провозглашала его духовным вождем. Однако вождь-то, как всякое инстинктивное существо, уже давно чувствовал, что близится предел и поживиться в опустошенных патриотических кладовых больше нечем – пусто, всё профукали, проболтали, и бездарно проболтали. А совершенно рядом, стоило лишь перешагнуть черту, лежало нетронутое пространство, всё переливающееся зеленым золотом, – почетная, сытая жизнь, слава первопроходца и объединителя всех любящих и страдающих за Россию: от истинно страдающих за русскую судьбу до расиста и завистливого склочника Солженицына.

И вот это кровосмешенье под эгидой «совести России» наконец-то состоялось и было скреплено печатью с девизом «Двадцать пять тысяч».

Все самые лучшие и преданнейшие «друзья» России и русского народа во главе с Солженицыным, с его, еще раз вспомним, призывами забросать ядерными бомбами Советский Союз, все громко и дружно провозгласили «Ура!» и выпили французского шампанского. Состарившаяся бардесса Белла Ахмадулина трижды, конечно же по-православному, облобызалась с очередным лауреатом и потёрлась кончиком расплющенного носа о грудь нового лауреата. Что бы такое значил сей таинственный знак? Может быть, просто просьбу поделиться?

Ей-богу, удивительно, но, похоже, Распутин не справился со своим главным образом, образ победил своего создателя, и писатель, увы, дезертировал из патриотического лагеря.

Приходится только руками развести: как всё вовремя, ведь ещё десять-пятнадцать лет – и не останется больше ни Матрен, ни Матер, ни Кузьминых, да и писать о дезертирах, бомжах и неудачниках в наше время становится и опасно, и, главное, невыгодно... Как еще новая власть – может и неодобрительно поморщиться... И как же тогда «зелененькие»?

\*\*\*

Бушин почувствовал себя оскорбленным в лице Ленина и обозвал Киселева антисемитом.

**09.04.2000 г.**

Ельцин и Горбачёв цинично стояли на трибунах на параде на Красной площади в день 55-летия Победы в ВОВ. Интересно, что они думали? «Берегите Россию», – наказывал Ельцин своему преемнику, и становилось страшно – до какой же низости может дойти человек, до какого духовного маразма!

Сделать всё для унижения и уничтожения России и тут же призывать её беречь...

\*\*\*

Людей среднего уровня нельзя судить по высшим меркам, они порождение среднеарифметического обывательского большинства, как правило, всегда угадывающего и определяющего уровень допустимого риска; этот уровень присутствует и безошибочно определяется особым инстинктом безликой обывательской массы. А дутые ученые и придворные философы, в угоду власти, тотчас возведут эту, по сути, инертную прослойку народонаселения в ещё более загадочную, даже мистическую степень, а там недалеко и до самой высшей истины, указываемой на горизонтах, как правило, целями высшей властной прослойки. Подвиг Геракла можно требовать от Ивана-дурака, он для того и явлен в народной мифологии, но уж никак нельзя требовать стоицизма от московского мещанина – для него главным во все социальные времена и эпохи был и остается вопрос сытого урчанья собственного желудка да квадратный метр жилплощади, – такова природа столичного мещанина, по которому теперешние властные структуры и определяют коэффициент национального и политического давления и настроение всего российского народа, и стремятся распространить данный

показатель на всю общероссийскую ойкумену. И во многом им это удается, особенно в последние два-три десятилетия, – свободный, независимый и раскованный человек нынешней олигархической власти не нужен и опасен. И здесь ничего не поделаешь, приходится констатировать горький факт, что пока в борьбе за природу человека торжествуют силы негативные, темные, сатанинские. Коммунисты, принявшие было за дело переустройства мира и человека с самыми гуманными и, несомненно, прогрессивными побуждениями и намерениями, не учли опыта Христа, потерпевшего сокрушительное поражение в борьбе прежде всего не с ветхозаветной иудейской тьмой и не с властью Рима, а с тёмной, звериной стороной природы самого среднестатистического человека, и закончили тем же. Оказались оплеванными и распятыми.

Кто следующий?

## **НИЩИЕ ДУХОМ.**

### **ПОКАЯНИЕ НА СТЫКЕ ВЕКОВ**

Вот и еще один тысячелетний рубеж проплыл мимо в блеске фейерверков и салютов, в торжественных песнопениях молебнов и литургий. Человечество веселилось и молилось, грешило и каялось, пило и надеялось на светлое, как и тысячу лет назад, когда Владимир Красное Солнышко крестил Русь, не очень-то горячо этого желавшую, как и две тысячи лет назад, когда состоялось явление Христа и он тщетно пытался убедить сынов и дочерей человеческих, что нищета благороднее и праведнее богатства, – благие проповеди закончились распятием Учителя на кресте, с плевками и оскорбительными выкриками по его адресу, а вкусы и склонности человеческой природы мало изменились.

И Россия, кровью умытая, до неузнаваемости искалеченная непрошенными «перестройщиками», с явной натугой перетащила в следующий век и тысячелетие. Самый раз оглянуться и хотя бы ненадолго задуматься, что оставлено в минувшей эпохе и что перекочевало с нами в новое столетие. Суждений и мнений много, и самых противоречивых, самых жесточенных в своей непримиримости, и здесь придется опираться лишь на неопровержимые факты, говорящие сами за себя. Несомненно, двадцатый век был не только мученическим, трагическим, но и звездным веком России, титанической эпохой советской цивилизации, трудно, потом и кровью нарабатывавшей принципы и законы нового, социалистического общежития для всего человечества. и весь мир начинал неотвратно меняться именно под воздействием советского строительства в национальных и социальных сферах. Но кто же теперь открыто признает подобные азбучные истины, когда движение России в поиске социального идеала было насильственно и подло оборвано и было обращено вспять, от свободной раскованной мысли к средневековью, а то и к рабству? Поистине космические перепады в одной стране и раз, и второй в одном столетии пугают статистического европейского обывателя, давно привыкшего к размеренной сытой животной жизни и встающего на дыбы лишь в случае угрозы его животному благополучию. Больше ничего в мире европейского обывателя (да и американского тоже) не интересует. И потому наработанное Россией в двадцатый, советский век изумленный так называемый западный мир никак не может не только снивелировать, но и просто переварить, реально освоить и претворить в действительность. Той же от природы паразитической Америке придется осваивать не одно столетие уже готовые советские научные проекты и разработки – своего она и тут не упустила. Но и в так называемой новой России, с паралитическими судорогами перетащившей себя в новое тысячелетие, еще остался немалый советский задел в фундаментальной науке, и в образовании, и в культуре, и в духовной сфере. После коллапса национальной жизни последнего десятилетия, вызванного бесцеремонной, циничной ложью

новых властных верхов, синдром душевного оцепенения и опустошения у народа, естественно, будем надеяться, начинает слабеть и уступать место осознанным активным действиям, правда еще не слишком заметным. Общество, впитавшее в себя советский опыт строительства жизни именно двадцатого века, невозможно вернуть в век пятнадцатый или даже семнадцатый, – российская молодежь вновь потянулась к просвещению, несмотря на все препоны, нагромождаемые антинародной властью, потянулась к высоким знаниям, что особенно ощущается в старых, исторически сложившихся русских центрах – в Орле, Рязани, Брянске, Смоленске, Пензе, Челябинске, в городах, никогда не терявших связи с землей и постоянно подпитывавшихся глубинными народными токами. Уже и в новых, идущих на штурм очередного столетия российских поколениях всё ощутимее начинает пробуждаться и звучать ген социальной справедливости, издревле присущий русскому народу и неизмеримо окрепший в советский период. Сражение за перелицовку русской души на западный, либеральный образец вновь, по сути дела, проиграно непрошеными ревнителями разрушения не ими самими построенного, страстными последователями незабвенного Левушки Троцкого, до самой последней минуты самозабвенно мечтавшего о разгроме России даже с помощью гитлеровского фашизма и многое сделавшего для его укрепления и становления в Европе.

И вот теперь опять провал. Господин Ельцин но ночам, надо думать, людоедски скрежещет зубами, а у лучшего немца, господина Горбачева, сатанинская мета на лбу время от времени набухает черной кровью – оказывается, несмотря на все их титанические усилия и старания, на Руси продолжают свадьбы и даже рождаются, правда теперь очень редко, дети. Ирония судьбы или закономерность природы, мудрость космоса, неуклонно уравнивающего добро и зло на земле, разрушение и созидание. Вполне может быть, народ, так же как и любой человек, является ещё сакральной тайной, и, как ни пытались это отрицать, ничего в этом вопросе не изменилось, ни во времена большевистского секуляризма, ни теперь, когда народ в своем духовном развитии стоит неизмеримо выше новой властной прослойки, вернее, даже узкого круга лиц, несущего родовые признаки угрюмого сектантства с явным клеймом духовного и нравственного одичания. Налицо явное перерождение либеральной правящей элиты в откровенно олигархический преступный режим.

*Вновь цепи времени разорваны  
У роковой, седьмой версты, –  
И вновь над Русью стонут вороны,  
Пластаясь в черные кресты.*

*Дитя во сне о счастье молится –  
Да придет царствие твое...  
А Русь уж за земной околицей –  
Спешит в иное бытие!*

*И безымянный подвиг страждущих  
Возносит ввысь ее престол, –  
И вновь в сердцах, прощенья жаждущих,  
Её пророческий глагол.*

Да, Россия, русский народ уходят в новый век и тысячелетие, в неизвестность, осиянные вновь взметнувшимися в небо в самом центре Москвы куполами Христа Спасителя, унося в душе живительное зерно неуспокоенности в поисках истины, в жажде нового созидания,

может быть, как никогда мучимые властным зовом неведомых вершин. А это и есть сакральность, крестный русский путь от самой ее космической природы предназначение. Если Россия не возвратится к своей судьбе – к социальному обустройству народной жизни по типу советской эпохи двадцатого века, с безусловными, диктуемыми временем изменениями и дополнениями, её ожидают долгие и холодные сумерки прозябания. Творить великое будущее может только здоровый, верящий в себя и в свои силы народ, тем более что в новый век, намертво, клещами, впившись в русское национальное, перебрались, благодаря своей биологической цепкости и проклятому русскому благодущию и терпению, и ложные пророки и пророчицы разных мастей – гремучая смесь сколопендры с сакурой. Они ведь и дальше намериваются вразумлять, смертельно ненавидя его, русский народ, указывать, как ему жить дальше, – здесь можно только почесать в затылке, как это часто делает русский мужик в умственном затруднении, а ему бы, этому Божьему чуду доверчивости, вместо чесания головы и чего и пониже, просто взяться за хорошую скребницу и решительно, пусть даже с кровью, содрать, соскрести с себя нарощую на его теле нечисть и скверну.

В новый век вместе с Россией перетащились и важные господа Горбачев с Ельциным со всей своей многочисленной челядью, обслугой и родней – две тяжкие гири на ногах российского народа. Несомненно, в художественном исследовании подобных людей-масок, в романе, допустим, повести или трагедии, вполне могли бы проступить и некоторые положительные их качества, – человек, даже самый омерзительный, не может быть создан природой из одного зла, из одной беспросветной тьмы. И они, вышешпоименованные фантомы, биологические носители русской беды, надо думать, любили своих близких, жен, детей, внуков, страдали, мучились, ошибались, впадали в запой, блудливо по-мелкому грешили, в них были бы подмечены и смешные, комические, а то и трагикомические черточки. Можно понять, допустим, и Хрущева, ползавшего у ног Сталина, вымаливая прощение своему сыну-убийце, но необходимо понять и Сталина, отказавшегося обменять своего попавшего в плен к немцам сына на немецкого фельдмаршала, придется понять и Петра Первого, пославшего сына своего единокровного во имя своей государственной идеи на лютую смерть, необходимо понять и Ивана Грозного...

Можно и необходимо понять и многое другое в характерах и поведении ряда особ, вознесенных на самые вершины власти над другими людьми и целыми народами, но у нас здесь всего лишь попытка обобщить по мере сил характерные особенности российской действительности на стыке эпох, а для этого прежде всего необходимы конкретные факты и результаты, выводы.

Горбачев и Ельцин, эти два политических трупа, сумели, уже насильственно изгнанные с политической арены, устроиться весьма вольготно, с пожизненными индульгенциями за все свои прошлые и будущие грехи и преступления; они опять сумели повиснуть на шее всё того же ограбленного ими дочиста русского мужика. России следовало бы хорошенько запомнить, каких щедрых, разумеется за народный счет, депутатов, сенаторов и президентов она избирает; следовательно, и дальше российские президенты могут воровать, разбойничать, убивать невинных тысячами, разрушать страну, а их за эти подвиги российский народ будет и дальше оберегать и холить вместе с их многочисленным прожорливым потомством?

Пожалуй, подобных аналогов цинизма, проявленного российскими депутатами, сенаторами и президентами по отношению к избравшему их народу, в истории еще не встречалось, но ведь и история даже в России не кончается ни Ельциным, ни Горбачевым, ни Путиным. Час истины неизбежен, и всё будет названо своими подлинными именами; ведь прав бродячий бездомный философ, коих много теперь на Руси и с которым всегда приятно встретиться и не спеша потолковать, назвавший Горбачева венцом троцкистского большевизма на сионистский лад, а Ельцина – пигмеем с аппетитом священного нильского крокодила, с его челюстями, желудком



и интеллектом.

– Вот вы все ищете ответов, а времена-то приходят и уходят, так же как и дети, да, да? Куда, зачем? Прежде всего надо заглянуть в самого себя, там вы и отыщете любой ответ своему безволию и трусости, там вы увидите оборотную сторону своего «я», узрите причину живучести и Горбачева, и Ельцина. А Путин... что, собственно, Путин? Ну, Путин, ну, кто-либо другой. Был и пройдёт, как и все до него прошли. Тоже вопрос, сумеет ли он заглянуть в себя, главное, осмелится ли? Вот Сталин в свое время возвысился до подобного мистического очищения, оттого и смог осилить неодолимое в одну недолгую человеческую жизнь. А здесь – скорее всего, лишь очередное, более мягкое вхождение России в небытие. Нельзя начинать утверждать закон с беззакония. Всё, конечно, случается, бывает, зло можно одолеть только еще большим злом, иногда в не столь мутных деяниях истина определяется только результатом.

Куда спешить, подождем, время все поставит на свои места. Опять же Сталин... да, да, не надо делать круглые глаза, всё возвращается на круги своя. Помните «Песню песней» иудейского царя Соломона?

Многое в мире и строится по такому же принципу, а власть, какая бы она ни была, – тем паче. Заколдованный круг. Не забывайте: не мир я принес вам, но меч. Хотя русский народ северный – крепкой породы, должен выжить. И никакой тайны, поднапущенной доморощенными философами вокруг этого вопроса, нет и никогда не было. Просто русскому народу приходилось и приходится работать вдесятеро против других, изворачиваться, искать, ум его постоянно совершенствовался, а терпеливость его, как форма выживания, весьма обманчива и по-своему взрывоопасна. Если нужно, русский народ просто растворяется, исчезает, больше его вроде бы и нет, так, космическое нечто, но попробуй...

Голос еще звучал, а сам бездомный философ исчез, словно подтверждая свои последние слова, и сам растворился в бескрайних российских просторах и далях, и теперь встречи с ним опять нужно ждать и мучиться догадками – а что же он такое не договорил? И сколько ждать, неделю, год, еще одно столетие?

Да и нужно ли ждать? Не взвалить ли тяжесть решений и ответов на свою собственную совесть?